

## ЛЯМАН БАГИРОВА

### МИНИАТЮРЫ

#### «Сережки для Селии»

Он осторожно входит в комнату и кладет передо мной маленькую жестяную коробочку. Я открываю – нет, рву ногтями тугую крышку. Та не поддается, и я корчу плаксивую гримасу.

– Подожди, – он ласково гладит меня по голове и открывает коробочку. Там туго свернутая змейка нового диафильма. Как я люблю этот острый химический запах свежей киноленты – запах новых впечатлений и ярких путешествий в сказочные страны. В четыре года все страны сказочные, даже если они начинаются за дверью соседней комнаты.

– Фильм «Сережки для Селии». Будем смотреть?

Что за глупый вопрос? Естественно, будем! Я распахиваю глаза пошире. Это я умею – глаза у меня как два овальных колодца, наполненных влагой и мольбой: «Когда?»

– Ну, если мама разрешит, то сегодня вечером.

Мама разрешит. Это делается легко! Надо только ластиться к ней подольше, она немного поворчит для вида, что у ребенка режим и все такое, потом вздохнет, назовет нас «фантазерами» и улыбнется. И – швоб-ода-а!!! Кто вообще выдумал это слово – «режим»? Противное, как рыжая жаба!

Фантазеры – это мы с папой. Мама не разделяет наших пристрастий, но смотрит на нас снисходительно, как на неугомонных котят. Ах, мама, если бы ты знала, какое это чудо, когда в маленькой комнате выключается свет и на гладкой белой двери появляется надпись: «Диафильм». Уже от одного вида затейливо изогнутой буквы «Д» сладко замирает сердце.

Читает папа. Я сижу на большом столе, ибо со стула задирать голову больно, и от нетерпения покусываю завязки своей шапки. Ненавистная мохнатая шапка с длинными завязками, словно заячьи уши – необходимая уступка маме. Она боится, что в угловой комнате вечно холодно, и я опять простужусь. Но что такое шапка, если есть новый диафильм! Нам на шапку плевать с высокой колокольни!

– «Сережки для Селии», – звонким, почти мальчишеским голосом произносит папа. И я, затаив дыхание, слушаю бесхитростную историю о простой кубинской женщине и ее детях, о том, как ее четырехлетняя дочка Селия мечтала о сережках, и что из этого вышло.

В финальном кадре я вижу улыбающееся личико Селии, крохотные сережки в ее руках и машинально трогаю себя за уши. В них с недавних пор мерцают маленьенькие сережки, что наполняет меня чувством гордости. Взрослая! Ни одно мамино украшение или туфли на каблуках не притягивают меня так, как серьги. Серьги – апофеоз женственности; только на них язираю с восхищением и любовью, только на их колыхание отзывается мое сердце.

– А у меня – тоже как у Селии? Да? – тереблю я папу за рукав. – А ей тоже четыре года? Как мне?

– Да, – отвечает он. – Но вот видишь, они были бедными, мама продавала кофе на базаре, а потом попала под машину, сломала ногу. А люди, под чью машину она попала, дали ей денег и она купила своей доченьке сережки.

Этот факт почему-то напрочь отсекается моим счастливым сознанием. Я, как и Селия, радуюсь сережкам. А ведь и правда: у женщины на кадре нога забинтована и у ее сына глаза грустные.

– Я, я, – из груди моей вырывается порывистый писк, – я бы ей дала... свои сережки! Пусть ее мама будет здоровой.

Папа молча гладит меня по голове. Фильм заканчивается.

– Что так быстро? – спрашивает мама. – Вы же обычно по три диафильма смотрите.

– Завтра посмотрим, – чуть глуховатым голосом говорит папа. Затем поднимает меня на руки и целует: – Ну, иди спать, детка. Спокойной ночи.

\*\*\*

– Иди отдыхать, детка, устала уже, – надтреснутым старческим голосом говорит мне папа. Потом спохватывается, словно вспомнив что-то, и улыбается.

– Что ты, папа?

– Ты маленькой без диафильмов никогда не засыпала. Сколько я тебе их читал! А мама – светлая ей память – ворчала, что я тебе режим нарушаю...

Он умолкает, думает о чем-то.

– А проектор я потом тебе принес, чтобы ты дочке мультики показывала.

– Он и сейчас у меня. И диафильмы тоже. Храню на память.

– Твой любимый «Сережки для Селии» помнишь? – и, опять улыбнувшись, гладит дрожащей рукой меня по голове...

...Помню, папа, все помню. Спасибо тебе, дорогой. Живи долго.

## **Хранители**

– А это что? – спрашивает дочь, доставая очередную открытку. Я высвобождаю руку из под ее головы, ноги и руки (удивительным талантом обладает мое дитя: улечься так, чтобы одновременно разместить у меня на коленях почти все части своего тела) и вглядываюсь.

– Рогир ван дер Вейден, «Портрет дамы» Нравится?

– Какая серьезная. И без косметики, и лицо прикрыто.

– Так было принято. Порядочные замужние дамы и девицы одевались скромно, глаза держали долу.

Дочери нравится последнее слово. Она хихикает и убегает, на ходу придумывая под него рифмы. Долю – полу, – не пойду в школу, – отдыхать впору. Я продолжаю смотреть на складки тяжелой средневековой одежды, на скрещенные тонкие пальцы, на бледное открытое лицо с гладко забранными назад волосами.

Вглядываюсь... Всколыхнитесь, волны памяти, я иду к вам!

Коричневая лакированная тумбочка в родительской спальне. Предмет моих вожделенных мечтаний. Ее темное нутро таит в себе сокровища Голконды. Так, во всяком случае, мне кажется. Но – увы и ах! – мне строго запрещено открывать ее без спросу, потому что там ред-ки-е реп-ро-дук-ции и-зо-бра-зи-тель-ного ис-кус-ства! Фу! Выговорила! Но нельзя – так нельзя. Надо дожидаться вечера.

Зимний день короток. И вот уже по полу тянутся сумеречные сиреневые лучи. Скоро придут родители и скажут, что я у них умница, красавица и молодец. Конечно – молодец: весь день не шалила, никуда без спросу не лазила, поела, вымыла за собой посуду и читала сказки, смиренно сидя в кресле. Мечта, а не пятилетний ребенок.

А награда вечером. Мама сядет рядом, укроет клетчатым пледом, включит маленький электрический камин и откроет сокровища Голконды – аккуратную большую стопку больших и маленьких открыток и альбомов. От них тянется аромат – старинный, изысканный, потому что хранятся открытки в больших бархатных коробках от бабушкиных духов.

– Вот это «Последний день Помпеи» Карла Брюллова. Посмотри, какое грандиозное полотно, какие краски.

Электрический камин с бутафорскими угольками бросает красные тени на открытку, и зарево помпейского пожара полыхает еще сильнее.

– А это его брат Александр Брюллов. Портрет Натальи Николаевны Пушкиной. О том, что это жена любимого поэта, я уже знаю. И вздыхаю ревниво:

– Красивая.

– Еще бы, – улыбается мама. – Первая красавица при дворе. А посмотри, какое платье, какие серьги.

Но, черт побери, я – женщина или нет?! Чтобы при мне, да красоту другой нахваливали?! Пусть она трижды мадонна! Ну, уж нет!

– А это? – нетерпеливо вынимаю я из стопки следующую открытку.

– «Шоколадница» Лиотара.

Ничего не пойму. Где шоколад? На картине какая-то пухленькая девица с чашкой на подносе.

– Раньше шоколадом называлось какао, – терпеливо объясняет мама. – И его не ели, а пили, и подавали в тонких фарфоровых чашечках.

Ничего себе! Глупые люди! Разве шоколад можно пить? Его надо есть: медленно, отламывая по кусочку, ощущая маслянистую хрупкость, и – смакуя, смакуя, смакуя! Или, мгновенно запихав в рот всю плитку, упиваться тягучим горьковатым вкусом.

– А это?

– «Портрет дамы» Рогира ван дер Вейдена.

– Какая некрасивая и злая!

– Почему? Посмотри, какая четкость линий, какое изящество и тонкие цвета. Бледная, потому что так считалось красивым, большой открытый лоб – тоже красиво и по моде того времени. А какие нежные губы, как полуопущены глаза, как сложены руки. Она спокойна и думает о чем-то.

– О чем?

– Наверно, о своих детках, о доме. Думает, вот художник нарисует мой портрет, и я пойду домой, накрою на стол, детки мои обрадуются, потому что будет пирог с румяной корочкой.

– А сколько у нее детей? Ну, сколько?

– Четверо, – мгновенно выпаливает мама. И я так же мгновенно верю в это: именно четверо, не меньше, и все они ждут маму и горячего сладкого пирога.

– А шоколад они будут пить? – мне нужны детали для полной картины семейной идиллии. – А над столом будет лампа с абажуром? А папа тоже будет? А какого цвета у них чашки, а скатерть?

– Будет, все будет! И синяя скатерть и белые чашки. Да угомонись ты немного!

Но я уже прищипорил Пегаса своей фантазии! Мне необходимо знать, какого цвета стены в доме женщины, какие полки и мебель, во что одевается ее служанка (у всех богатых есть служанки!) и с какой корзиной она ходит на рынок. И вообще, красивый ли у них город?!

Мама терпеливо рассказывает мне это. Игра увлекает ее, и вот уже два Пегаса – мой и мамин – скачут по бескрайним дорогам фантазии. Из маленькой открытки «Портрет дамы» нидерландского средневекового художника за считанные минуты родилась целая история.

Камин бросает красные задумчивые блики на мамино лицо. Я сворачиваюсь у нее на коленях и засыпаю. Она осторожно высвобождает одну руку и гладит меня по голове...

Расступитесь, волны памяти: в стране воспоминаний нельзя гостить долго...

Белые ангелы детства, хранящие мою душу, не покидайте меня: мама, камин с красными угольками, коричневая тумбочка с сокровищами Голконды – вы так далеко от меня и так близко. Вы – мое богатство, которое я передам своей дочери вместе с затертой репродукцией «Портрета дамы». Сохраните ей воспоминания, соткните память, сберегите душу, чтобы не прервалась ниточка уюта и добра в нашей жизни.

## **Чего только женщины не придумают!**

Мужчины обычно невысокого мнения о женском уме. Ну да Бог с ними. Все равно, чтобы женщина ни сказала, какие бы доводы ни привела, они будут уверены в своем превосходстве. Даже если им привести в пример Марию Кюри, единственного по сей день дважды лауреата Нобелевской премии – женщину и, между прочим, блондинку! Нет, даже она для них не аргумент. Может быть пожмут снисходительно плечами и обронят что-то вроде: «Исключение лишь подтверждает правило».

Но вот одно – точно! Женщина фору даст любому мужику по части изобретательности. Особенно когда она борется за мужчину! Тут уже ... A la guerre comme a la guerre – все средства хороши!

История, которая давно уже стала семейной легендой и передается из поколения в поколение, случилось давно, в первые послевоенные годы. Страна только восстанавливалась, но люди были сплоченные. Иначе было не справиться, не выжить.

Один из моих родственников вернулся домой не просто воином-победителем, а человеком неслыханного везения. Пройти всю войну с первого и до последнего дня, взять несколько городов, включая Берлин (но самым памятным было освобождение Кенигсберга), несколько раз ходить за линию фронта и все это в прямом смысле без единой царапины (словно заговоренный был – ничего не брало!) – нечто из ряда вон выходящее. Помимо ореола воина-победителя прибавился еще и ореол баловня судьбы. Неудивительно, что многие относились к нему чуть ли не с молитвенным трепетом. Но женщины, особенно молодые вдовы, нередко заглядывались на него совсем по-другому. И люто завидовали его жене. Как же – при муже, да еще не увечном, молодом, сильном! А еще через какое-то время в семье появились детки – сын и дочь.

Когда молодая семья выходила на прогулку – это было зрелище, достойное пера Некрасова, описывающего шествие крестьянского семейства к обедне в поэме «Мороз Красный Нос»:

*Идет эта баба к обедне  
Пред всею семьей впереди:  
Сидит, как на стуле, двухлетний  
Ребенок у ней на груди,  
Рядком шестилетнего сына  
Нарядная матка ведет...*

Конечно, ни к какой обедне они не шли, но шествие стройного, ловкого офицера, красивой молодой женщины и двух симпатичных деток вызывало неоднозначные эмоции. Кто-то, особенно пожилые люди, искренне радовались, вытирали набежавшие слезы и благословляли процессию. Кто-то же закусывал губы и вздыхал... Впрочем, об этом поподробнее!

В начале 1949 года семье дали квартиру на четвертом этаже нового дома. Не велики хоромы – одна комнатуха в 9 квадратных метров, но после полуподвального сырого помещения, где они ютились с детьми и где до ближайшей бани надо было топать несколько километров, эта квартирка показалась им раем. Все было прекрасно, если бы не соседка со второго этажа.

Это была молодая, миловидная, но необъятно грузная женщина. Вес добавлял ей возраста, и при своих двадцати восьми она казалась старше лет на 15, а может, и больше. Муж ее погиб на войне, детей не было, зарабатывала она на жизнь шитьем и вязанием – обшивала и обвязывала всех знакомых.

Но работа работой, вдовство вдовством, а с природой и жизнью бороться трудно. И любить хочется, и быть любимой, и детей родить и вырастить. Да только где мужа взять, если после войны остались одни подростки, старики, да увечные. А единственный нормальный мужчина на всю округу, как на грех, женат, и жена его милая женщина, добрая соседка и к тому же (что немаловажно!) – хороший врач. Грамотных специалистов походи поищи, а тут тебе соседка, если что понадобится, и помощь окажет, и лекарства выпишет, и укол сделает. Рушить дружбу с такой не годится. Да и уводить мужчину из семьи тоже нехорошо. И не собирается она этого делать. А вот если бы он как-то сам зашел к ней вечерком на огонек, разделил бы ее тоску и одиночество... Тут у женщины глаза заволакивались влажной истомой... Нет, в конце концов, почему одной все, а ей – ничего?! Где же справедливость? Да и нет тут никакого греха по мусульманским понятиям.

Вот здесь стоит прерваться и пояснить. Дело в том, что по мусульманским законам мужчина действительно может иметь до четырех законных жен при условии, если он сможет оказывать одинаковое внимание всем. Конечно, такую роскошь могли позволить себе только очень состоятельные люди – шахи, ханы, беки. Жены – народ требовательный! Поэтому в основном ограничивались одной женой.

Но существовало еще и такое понятие как «временные» жены. Их могло быть много, больше, чем четыре, но такие жены, вместе с их потомством, не могли претендовать на имущество или титул мужчины. Временный брак заключался духовным лицом – муллой. Тот читал соответствующую молитву и выдавал на руки брачующимся бумагу, в которой указывалось, что такой-то женится на такой-то на определенное время. Делалось это с целью предотвратить разврат! Дабы мужчина, пребывающий по каким-то своим делам вдаль от семьи (мало ли – по торговле, или по контракту куда-то судьба забросила!), не томился в одиночестве и не искал утешения у девушки с пониженной социальной ответственностью, а приобрел бы хоть временную, но, тем не менее, уютную семейную обстановку. А для женщины такая бумага гарантировала почтительное отношение окружающих. Хоть временная, но все-таки жена. Это статус. Это соответствует нормам приличия. Да, потом мужчина мог вернуться к своей настоящей семье и больше никогда не встретиться ни с самой временной женой, ни с детьми от нее, но никто не имел права бросить обидное слово вслед женщине, ибо ее сожителство было оформлено по закону.

Кроме того, такая форма брака в старину была своеобразным спасением для женщин, оставшихся вдовами или старыми девами. Проще говоря – мужчины гибли, как мухи, на бесчисленных войнах, охотах, в опасных путешествиях, женщины оставались одни. И чтобы не сворачивали горемыки на скользкую дорожку разврата, в мусульманском законодательстве была закреплена форма временного брака – сикге.

Но вернемся к нашей горячей вдовушке. Уж она и так, и эдак обхаживала молодого офицера, и томные взгляды, и вздохи ему посылала, и будто бы нечаянно пухлым плечиком задевала, но все без толку! Офицер оказался примерным семьянином, очень любящим свою красавицу-жену.

Совсем уже отчаялась соседка, как вдруг на горизонте любовных томлений совершенно случайно забрезжила надежда. И произошло это так.

Подхватила как-то вдовушка воспаление легких и назначили ей лекари целый курс инъекций. Чтобы не ходить в поликлинику, попросила жену вожделенного соседа сделать уколы. Медик все-таки! Та согласилась, делов-то – спуститься с четвертого этажа на второй.

И вот добрая половина курса уже проделана, лечение близится к концу, как на очередном уколе игла ломается, и кончик ее застревает в безбрежной, мягчайшей филейной части пациентки!

Молодая врач испугалась и побледнела. В ее практике такое было впервые. Она испугалась так, что у нее затряслись руки. И ничего лучше не придумала, как заполошно закричать:

– Тимур!!!

Воин-освободитель, офицер, разведчик и примерный семьянин Тимур в этот мирный воскресный день просто спал на диване, как вдруг до его ушей донесся вопль супруги.

Он еще не понял, что случилось, он еще не успел продрать глаза, но ясно уловил интонацию крика. В интонации четко звучало: SOS!!!

Этого было более, чем достаточно. Был уловлен сигнал о бедствии, и этот сигнал подала его красавица-жена.

Тимур за секунды оделся и кубарем скатился с четвертого этажа на второй.

Представшее перед ним зрелище вдохновения не вызывало. Впрочем, и особо не негатива тоже. Насмерть перепуганная жена трясется и указывает ему на некую темную точку среди двух белоснежных холмов.

Тем временем страдальца-вдовушка кричит, охает и пытается повернуть голову, чтобы понять, в чем дело.

Тимур мгновенно проявил хладнокровие и военную смекалку. С первой же попытки ухватил застрявший кончик сломанной иглы и извлек его наружу.

Из глаз жены брызнули слезы, она бросилась обнимать спасителя. Соседке тоже хотелось это сделать, но вначале надо было привести себя в приличный вид. Пока она мешкала, Тимур с обычной невозмутимостью бросил жене: «Я поднимаюсь домой» и ушел.

Место неудачной инъекции было тщательно обработано йодом, пережитое волнение соседки запили чаем с конфетами-подушечками – нехитрым угощением первых послевоенных лет.

На этом история могла бы закончиться, если бы не...

Но предоставим слово самому Тимур, когда он, уже будучи бодрым и энергичным старичком, вспоминал эту историю, благодушно кивая на свою благоверную:

– Эта ваша бабушка, – притворно охал он, – еще тот кадр! В молодости меня чуть с праведного пути не свернула! Это надо же – ничего лучшего не придумала, как звать мужа, чтобы он извлек иголку из ... – тут Тимур делал глубокий вздох, – из тела чужой женщины.

– А что мне было делать? – недовольно ворчала благоверная. – Я так растерялась, что у меня руки тряслись, слова не могла сказать.

– И что, и что? – покатывались со смеху многочисленные внуки и племянники. – Что было дальше?

– Ну, что было дальше? – спокойно подытоживал Тимур. – Оказал помощь человеку в сложной ситуации. А потом сложные ситуации стала создавать она мне. Проходу не давала! Говорила, теперь ты как мусульманин обязан на мне жениться, раз видел мое тело. Идем к мулле, пусть оформит временный брак. Ты разве не знаешь, что тело мусульманки может видеть только муж, и никто другой?!

И так по нескольку раз в день приставала: «Сними грех с моей души, пойдем к мулле». Но я был крепок, никуда не пошел, я был верен вашей бабушке, а она этого



не ценит! Вместо того, чтобы на руках носить, ворчит и кричит. А та женщина, бедная, как она плакала, когда мы получили новую квартиру и съехали. Так и смотрела мне вслед... Эх, так и оставил я ее с тяжестью на сердце.

– Я бы сказала, что у нее было на сердце, – продолжала ворчать жена. – Жаль, при детях неудобно. И чего только женщины не изобретут, чтобы мужчину заполнить! На все пойдут, из всего извернутся!

– Да, дорогая, – смиренно поддакивал Тимур и в выцветших глазах его загорался озорной огонек. – Истинная правда. Чего только женщины не придумают!..

## РАССКАЗЫ

### **Волк**

Не писалось. Промучившись часа три за компом, злой, как черт, Назаров вспотел и отчетливо понял, что сегодня ему не родить ни строчки. Пот был едким и соленым, но вместе с ним пришло счастливое озарение: «Не пишется, да и фиг с ним!» И сразу стало легко, захотелось выйти на улицу, вдохнуть ноябрьский воздух и съесть чего-нибудь. Удивительно, как люди способны усложнять себе жизнь. Нет, прав тот, кто сказал: «Не можешь изменить ситуацию, измени свое отношение к ней». Назаров так и сделал, соорудил себе огромный бутерброд с колбасой и вышел из дома.

Он, плодовитый литературный критик, давно уже мог сменить место жительства, переехать в новостройку или хотя бы вторичку. И жена, и, особенно, теща слезливо намекали ему на это – «дети растут, им отдельная комната понадобится, да и в кухне не развернуться, ну что это такое?!», но Назаров с идиотическим упорством оставался верен родительскому дому в старом итальянском дворе-колодце, где двери десяти квартир выходили на один общий балкон с крутой лестницей. Во дворе всегда стояла вонючая духота от сохнувшего белья, котов и разнообразного соседского вара, но Назаров любил свой двор. В нем ему была знакома каждая выщербленная дверь, каждый камень был ему родным. И чем старше становился критик, тем больше было это родство, словно мир сужался до размеров колодца, но приобретал и колодезную глубину, и глубина эта падала в сердце...

Вопреки общеизвестному мнению, что критик всегда задним умом крепок, Назаров был творцом. Его статьи иной раз превосходили сам материал разбора, так что незадачливый автор пьесы или прозы поражался: «А, черт побери, неужели я так глубоко мыслил? И как только критик это узрел? Что значит профессионал!» и, благодарный, рассказывал собратям по перу, что не перевелись-де еще настоящие ценители прекрасного. Собратья, особенно те, которым не повезло с критиками, угрюмо молчали.

Но в этот раз или луна была на ущербе, или звезды не сошлись, или старый тутовник отбрасывал тень как-то криво, но не получалась статья о психологизме современной прозы на примере рассказов молодых авторов. И обиднее всего было то, что никто не мешал: жена с детьми гостила у своей матери, и Назаров был рад этому. Он любил семью вдумчивой спокойной любовью, ему нравилось наблюдать, как растут дочери, как хлопочет на маленькой кухне жена – от всего ее облика веяло миловидностью и уютom. Но сейчас он был рад одиночеству: любовь и ласка нуждаются во взаимности, а творчеству нужна отрешенность. И все шло, как по маслу: и маячил хороший гонорар, и экран монитора светился призывно, и готовый к печати сборник рассказов лежал на столе, и к развитию сюжетов не придерешься, а... пустота! Ни уму, ни сердцу: Алик З. любит свою невесту Симу К. Она его тоже любит, но подспудно симпатизирует Руслану М. И пока свадьба по каким-то причинам откладывается (то не все приданое собрали, то кто-то из родственников нехотит к праотцам

отправился), Руслан М. как-то ненавязчиво завладевает сердцем Симы К. В общем, в стане женихов маленькая перестановка, но от перемены слагаемых сумма не меняется. Все слагаемые слагаются, как положено, свадьба играется, бывший жених благородно произносит тост за счастье молодых и, дабы излечить раненое сердце, уезжает поступать в заграничный вуз. Во втором рассказе пожилой гулена-муж наконец-то возвращается к своей старой верной жене, и та, проронив для приличия несколько горьких слез, принимает блудного Одиссея в объятия и ни разу не попрекает его своим вынужденным пенелопством. Вокруг бродят смущенные взрослые дети, взволнованный Одиссей вытирает покрасневшие глаза и возносит хвалу Господу за возвращение в лоно семьи. И остальные рассказы в том же елейно-назидательном духе. Назаров, как ни бился, не знал, к чему подступиться. А психологизм – маленький, подленький психологизм, – был в том, что критик уж больно хорошо знал авторов этих рассказов, был с ними в приятельских отношениях и сейчас раздирался между нежеланием обидеть авторов и желанием разнести их опусы в пух и прах.

Двор дохнул неряшливостью: воздух и небо будто провисли длинной серой слюной, все было влажным и неприятно липким на ощупь, почерневшие тутовые листья валялись тут и там, и все же в замкнутом пространстве двора было больше уюта, чем в теплом доме. Облысевший тутовник кряхтел, поскрипывая, кривая его тень дрожала. Назаров с аппетитом откусил от бутерброда и задумался...

Тутовник давно собирались спилить, каждую весну толстый Фазиль торжественно ударял себя в грудь и клялся всеми своими родственниками – живыми и мертвыми – что он будет не он, если не спилит эту кривую высохшую деревяшку, которая и ягод уже давно не несла, а в последние годы стала угрожающе валиться на бок. Ему вторила добрая половина соседей: мол, де и машинам въезд загораживает, и пройти нормально невозможно, и детям играть мешает, а упадет, так придавит кого-нибудь. И всякий раз торжественные клятвы так и оставались клятвами. Тутовник кренился все больше, но так же победно торчал посередине двора. И всякий раз, бросая взгляд на уродливое дерево, кто-то из соседей задумчиво ронял: «Надо же, дух Везира как охраняет, не дает спилить...»

Лет сорок назад Везир-Волк был грозой всей округи. Огромный, смуглый до черноты, обросший жесткой седой бородой, он наводил ужас одним своим видом. Назаров даже сейчас поежился, вспомнив, как Везир отгонял их, мальчишек, от усыпанных алыми ягодами веток. И никаких ласковых старческих увещеваний, типа: «Не трогайте, детки, животы заболят, тут еще неспелый, почернеет, так и лакомьесь на здоровье» – не было и в помине. Напротив, была вздернутая к небу рука с огромной суковатой палкой, круглые, налитые яростью глаза и хищно подрагивающие усы под вислым носом.

Его побаивались даже почтенные отцы семейств – Везир знал их еще голопузыми и тоже жаждущими тутовых ягод. Тщетно! Старик охранял неприкосновенность дерева, как не всякая девица блюдет свою честь. И только когда почерневшие, истекающие соком ягоды начинали грузно шмякаться на землю, Везир делал знак здоровой рукой – вторая висела плетью, и женщины двора гурьбой кидались собирать их, осторожно трусили ветки в разостланные под деревом старые простыни. Везир и тут не успокаивался, придирчиво вглядываясь, не обломали ли какую-то ветку, не повредили ли ствол.

Волком его прозвали за нелюдимость, молчаливость и каменную уверенность в своих поступках. Говорили, что он каким-то чудом выжил в сталинской молотилке и даже не угодил в лагерь, но в тюрьме ему перебили руку так, что потом она сплелась неправильно. Что дети и жена его в войну погибли, а сам он, попав в окружение, просидел двое суток в сугробе. Смог выбраться и даже привел «языка», но отморозил себе все, что можно, и потому жениться во второй раз не смог и так и доживал свой век в маленькой комнатухе с забранным решеткой окном, и лицо его со



временем стало похоже на эту решетку. Но человеку нужно быть привязанным к чему-то, и Везир посадил саженец тутового дерева, возился с ним, как с младенцем, поливал, рыхлил почву, охранял и от ветра, и от мальчишек, и от котов – все они могли надломить слабенький росток. Деревце оказалось благодарным – быстро пошло в рост, покрылось аккуратной густой листвой и на пятый год принесло первые плоды. И Волк превратился в цербера! Горе тому, кто хотя бы ненароком тянулся к созревающим ягодам, откуда-то из под земли вырастала грозная фигура с хищно подрагивающими усами и точный удар палки-судьбы опускался на руку бедолаги. Так и жили – двор сам по себе, а Везир с деревом – сам по себе, и никого старик не впускал в свою жизнь и ни от кого не принимал даже крохотного угощения, сам себе стряпал, да раз в неделю приходила пожилая молчаливая женщина, видно, какая-то родственница, прибирала в комнате, забирала узелок с грязным бельем и исчезала. Все попытки наладить с ней контакт были безуспешны, и даже пронирыльные кумушки-соседки приуныли – женщина оказалась твердой, как кремь, и односложно отвечала на любые вопросы. Для южного темперамента это было нетипично, и двор вынес негласный вердикт: «Волк, и род его волчий, лучше не трогать, пусть сидит под своим деревом» И Везира не трогали, и он, уперевшись в палку, сидел целыми днями, пока позволяла погода, под деревом и смотрел прямо перед собой.

Трогать, конечно, не трогали, кто ж решится, да и недостойно было бы задирать старика, во дворе ходили чуть ли не по струночке, но вот за его пределами отводили душу и давали волю языкам! Особенно кривлялся Самир-Йемишбаш (дынноголовый) – долговязый вертлявый пацан с вытянутой формой черепа. То насупит брови, то вытянет губы и коснется ими кончика носа, то примется вращать глазами, то схватит палку и начнет трясти ею над головой, что-то бормоча при этом, в общем, бесплатный цирк. И одну руку всегда привязывал к телу, чтобы добиться полного сходства со стариком. Назаров смеялся вместе со всеми, но на дне души тяжело трепыхался стыд – ну, неправильно это, не должно быть так. Да пусть от Везира не то, что доброго слова, но даже взгляда не дождешься, пусть двор при его появлении вымирает, пусть тысячу раз будет волком, но ведь не шакал же! Но Самир изображал его так артистично, ребята покатывались со смеху, и Назаров тоже смеялся, чтобы быть своим среди них.

Скорее всего, Везир догадывался о геройствах Самира в соседнем дворе, потому что иногда останавливал на нем взгляд, полный иронии и скрытой издевки.

А потом случилось такое, после чего Везира вообще называли зверем. Впрочем, ненадолго и всего лишь два человека. И было это так.

На исходе 1978-года во дворе появились новые соседи, переехали в квартирку умершей соседки. Новому жильцу – главе маленькой семьи – умершая приходилась бабушкой, до этого семья снимала квартиру где-то на окраине города, а сейчас решили переехать. Хоть и старый дом, и общий двор-колодец, но все же собственное жилье, к тому же в центре. Бабку они навещали по праздникам, не засиживаясь надолго, и соседи любили наблюдать, как из обшарпанной двери выходит молодая нарядная пара с двухлетним малышом на руках, неспеша проходит через двор и садится в машину. Везир не обращал на них внимания, но на то он и Волк.

Когда они переехали в освободившуюся квартирку, мальчику было чуть меньше семи лет. И все сразу поняли – переехали ненадолго. Глава семейства целыми днями вел какие-то переговоры с незнакомыми людьми, те осматривали квартиру, цокали языками, вздыхали, уходили. На смену им являлись другие, осматривали двор, проверяли на прочность перила общего балкона, вглядывались в переплеты соседских окон. Супруга главы семейства не принимала в переговорах участия, не работала, и почти не выходила из дому. Иногда из их окон долетали приглушенные разговоры: женщина жаловалась, что не может жить в такой дыре, а муж успокаивал, что как только подвернется выгодный вариант, они сейчас же съедут.

Но вот сынок их целыми днями вертелся во дворе и особой приязни не вызывал ни у детей, ни у взрослых. Маленький, носатый, как Буратино, с тонкими, просвечивающими на солнце ушами, он постоянно что-то жевал и постоянно подтирал нос. От этого шмыганья и жеванья становилось тошно, но как откажешь в общении человеку, который ничего плохого тебе не сделал, а наоборот, вертится рядом с таким угодливым выражением лица, что язык не повернется отогнать. Через несколько месяцев он уже досконально знал привычки обитателей двора. Кто когда развешивает белье, у кого какие простыни, подштанники, фуфайки, кто когда возвращается с базара и что несет, у кого что булькает в кастрюле и шкворчит на сковородке – тонкие уши горели от любопытства и нетерпения быть в курсе всего.

К Волку он тоже попробовал было подойти, но тот не выказал ни малейшего желания общаться. После двух-трех попыток мальчишка понял, что успеха не добиться, а может, и родители наказали не лезть к старику. И все, может быть, было бы хорошо, если бы не сезон созревания тут.

В этот год природа расщедрилась, ветки, словно войлоком, были облеплены карминными ягодами – каждая из них готова была взорваться от малейшего прикосновения, но до полной спелости было еще далеко. Полная спелость – это густая южная ночь, это волшебные чернила, пропитанные солнцем! Везир знал это и охранял дерево еще больше.

То ли черт дернул неугомонного Йемишбаша, то ли показалось, что Везир дремлет, но мальчишка предпринял отчаянную попытку одним молниеносным движением очистить ближайшую ветку. Подкравшись, он мгновенно выбросил руку и ухватил ветку, но не успел сорвать и пяти ягод, как раздалось угрожающее «Гр-р-р!», и повинная рука была перехвачена железными пальцами.

– Тута неспелого захотелось, сынок? – издевательски захрипел старик. – Сейчас получишь!

– Вот, дядя Везир! – раздался детский голосок.

Везир оглянулся, не разжимая пальцев. На него, ясно улыбаясь, смотрел сын новых соседей и протягивал старику его же палку. Тонкие уши его горели на солнце, и вся его фигура выражала услужливость.

Волк сузил глаза, разжал хватку и неспеша взял палку. Затем на глазах побледневшего Самира резким движением переломил ее через колено.

– Значит, ты принес мне палку, чтобы я ударил твоего соседа?

Ничего не понимающий мальчик радостно кивнул. Во дворе повисло нехорошее молчание.

Везир долго смотрел на ребенка. Назаров помнил этот взгляд и сейчас. Трудно сказать, чего в нем было больше – гнева, боли или усталости. Он смотрел на ребенка, тот по-прежнему светло улыбался, и уши его так заманчиво горели на солнце... Назарову показалось, что у старика заходили желваки на скулах...

– Иди домой, – наконец сказал Волк. И тихо прибавил: – Скажи спасибо, что маленький.

И так сверкнул на него глазами, что мальчишка убежал, разревевшись.

В эту ночь плохо спалось жителям двора. Каждый обсуждал в своем доме дневное происшествие. Но, странное дело, никто не назвал Везира волком, кроме новых жильцов. Из их дома слышались крики почти до утра. Женщина кричала, что ни дня не останется в этом гадком дворе и доме, рядом с этим сумасшедшим дедом-зверем, который напугал ребенка. Мужчина отвечал чуть виновато и лениво, что ей не о чем беспокоиться, что он нашел хороший вариант обмена, и не драться же ему с выжившим из ума стариком.

Через неделю они съехали. И никто их особо не провожал, разве что, мать Назарова да еще несколько сердобольных соседок, но и те больше для того, чтобы неронить честь двора.

О них быстро забыли. Будто бы и не было этих жильцов. А новые оказались людьми веселыми и нечванливыми, быстро стали своими. И все пошло по-прежнему. Везир-Волк с новой палкой так же зорко охранял дерево, чтобы ни одна неспелая ягода не была сорвана торопливой рукой. Дети росли, учились, уходили в армию, женились, выходили замуж, родители их старели, а Везира-Волка, казалось, и время не брало – так же сидел под тутовником, опершись на палку, только побелел совсем. Белый волк...

Когда его не стало, стол накрыли под тутовником. Усыпанные красными ягодами ветки свешивались над скатертью, но никто не сорвал даже одну.

– Хороший человек был, – нарушил молчание отец Назарова. – Правильный.

Молчаливая, очень постаревшая родственница старика всхлипнула. И в ответ ей отозвалось еще несколько дружных всхлипов. Будто не Везира Угрюмого Волка провожали, а самого доброго человека.

А больше всего плакал высокий, плечистый парень Самир-Йемишбаш, к тому времени уже отслуживший в армии. Словно родного деда провожал...

После Везира-Волка тутовник как заколдовали. Перестал плодоносить и начал крениться. И проезд загораживал, и тени никакой не давал, и листва поредела, а спилить ни у кого рука не поднималась.

Назаров доел бутерброд, кинул еще раз взгляд на дерево и вернулся в дом. Он порядочно прозяб, хорошо, что от стенной печи веяло жаром. Это были старые дома, еще дореволюционной постройки, почти во всех были печки-голландки, газа они поглощали много, но протапливали дом гораздо лучше электрических печек.

Надо было хотя бы как-то начать статью. Назаров попытался настроиться на опостылевших Симу К., Алика З., на загулявшего Одиссея с его Пенелопой и понял, что не сможет. Перед глазами отчетливо встал Везир-Волк, его тяжелый, полный иронии и скрытой издевки взгляд. Назаров еще раз перелистал сборник, подумал немного и решительно выключил ноутбук.

В редакции удивились внезапному отказу Назарова, но потом смирились. Сборник рассказов в роскошном бордовом переплете с золотым обрезом вышел с предисловием другого критика. Вступительная статья о психологизме современной прозы была выше всех похвал. Молодые авторы остались очень довольны.

## **Минутка**

*И всем казалось, что радость будет,  
Что в тихой заводи все корабли,  
Что на чужбине усталые люди  
Светлую жизнь себе обрели.*

**Александр Блок**

В конце концов это становилось невыносимым! Угловая квартира в доме № 13 на 4-й Хребтовой регулярно оглашалась жалобными воплями, которые в идеале должны были изображать вальс Шопена «Минутка».

Но «Минутка» исполнялась в темпе медленно надвигающихся танков! Бедный Фридерик Шопен! Хорошо, что он не дожил до конца 20-го века. В кошмарном сне, на последнем кругу дантова ада он не мог бы представить себе такое издевательство над его произведением. Легкий, искрометный, звенящий как колокольчик, вальс рокотал, грохотал и рычал! И заставлял его рычать не какой-нибудь юный мученик музыкальной школы и не скучающая девица, от нечего делать терзающая пианино, а вполне уважаемый, солидный отец семейства, профессор биологии, ныне пенсионер и очень положительный человек, Коммунар Бенедиктович Таначек.

Его имя и фамилия заслуживают отдельного разговора. Но вначале о злополучной «Минутке».

Отчего-то Коммунару Бенедиктовичу не сиделось на месте. Пересчитав всевозможные тычинки и пестики и окончательно отделив хордовых от беспозвоночных, он заскучал. Неугомонный нрав толкал профессора на самые отчаянные поступки. То он вспоминал, что в детстве неплохо рисовал, и поэтому на следующий день его кабинет превращался в студию, где повсюду были раскиданы фрукты: профессор биологии живописал исключительно натюрморты. То, дыша воздухом на балконе, он разглядывал на небе какую-то Богом забытую звезду, и на следующий день домашние не могли дозваться его к ужину, ибо профессор обзирал небесную ширь в старую подзорную трубу, а потом сравнивал увиденное с астрономическим атласом. То принимался мастерить что-то из дерева и непременно заезжал себе молотком по пальцам. Но все эти увлечения были цветочками по сравнению с музыкой! В злую минуту озорной бес шепнул профессору, что неплохо бы вспомнить домашние уроки музыки. Бесовский шепот оказался громким, и отцовское пианино, мирно пылившееся в углу гостиной в качестве мебели, было открыто и настроено. И 4-ю Хребтовую, маленькую зеленую улочку южного города, стал раздирать оскорбленный вой ни в чем не повинного Petroffa<sup>1</sup>.

Вот теперь пришла пора рассказать о пышном имени и фамилии профессора. Может быть, только они и были подстать его нраву.

Фамилию он получил от какой-то ветви рода чешского композитора Леоша Яначека. Путем головоломных кульбитов судьбы и истории самые отчаянные и авантюрные представители рода осели в южном городе на берегу моря. Там они окрепли на местных ветрах и пустили корни в соленую абшеронскую землю. Местные жители мгновенно перекроили благородную фамилию и чешское «Яначек» превратилось в азербайджанское «ЯнаджАг»(топливо). Величаться топливом никак не входило в планы представителей рода, и они почли за благо стать Таначеками. Но прозвище «янаджАг» так и прилипло к ним и, видно, неслучайно. В крови неумных чехов горел огонь революционной романтики, и, озаренный этим огнем, юный Бенедикт Таначек назвал своего первенца Коммунаром. Было это в ярких 20-х годах, когда молодая страна Советов в один голос распевала «Наш паровоз летит вперед, в коммуне останька!» и строила счастливое коммунистическое будущее.

Но огневые двадцатые сменились тридцатыми, и энтузиасты революции стали уходить на второй план, а потом от них и вовсе стали забываться. В один чудесный сентябрьский день Бенедикт Таначек ушел из дома и не вернулся. И в памяти восьмилетнего сына он остался воплощением радушия, неумной фантазии и счастья. Мама вначале плакала, потом долго обивала пороги каких-то «важных людей» и наконец однажды вернулась домой молчаливая с маленьким листком бумаги в руках, на котором было написано «десять лет без права переписки». Коммунар не знал, что это значит, но навсегда запомнил тонкую руку матери, которую она уронила на колени ладонью вверх, как нищенка. И в ладони этой был смятый клочок казенной бумаги.

После отца им с матерью пришлось сменить немало квартир и углов. Коммунар помнил этот период жизни как длинный путаный сон, где они с матерью проходят по бесконечной цепи коридоров. Мать прижимает к себе несколько узлов с вещами, в руках Коммунара тоже узелок; по коридорам протянуты веревки с сохнувшим бельем, откуда-то несется ругань, смешанный запах какого-то варева, ветер плачет в незасланных оконных рамах, и кто-то кричит со двора: «Эй, женщина, пианину куда?».

Пианино было единственной громоздкой вещью, которую мать не продала. Таскала его за собой по всем переездам, договаривалась с грузчиками, молча выслушивала брань и насмешки жильцов над «недорезанными врагами, которым самим жрать нечего, а туда же – на пианине играют!»

<sup>1</sup> Марка пианино.

Но миниатюрная хрупкая мать, которая в недолгие годы замужней жизни не желала самостоятельно преодолеть даже пять ступенек у входной двери и капризно звала мужа «Бенечка, а помогать?..», проявила чудеса стойкости и воли. Маленький алый рот, созданный, казалось, лишь для поцелуев, свелся в упрямую щель, белые мягкие руки, учившие сына музыке, привыкли мыть полы щелоком и жавелевой водой, а холеное тело вытянулось в жесткую струну, звучащую одной нотой: выжить и поставить на ноги сына! По-прежнему хрупок был ее облик, только волосы приобрели цвет позолоченного серебра – так обычно седеют рыжие.

И в памяти осталось, как мать после работы иногда подходила к пианино, откидывала крышку и брала начальные аккорды вальса «Минутка». Но распухшие обветренные пальцы уже не слушались ее, воздушный вальс громыхал как танк, мать в сердцах закрывала пианино и брала с Коммунара слово, что тот выучится играть во что бы то ни стало. Хотя бы этот вальс.

– Ты понимаешь, – задыхаясь, говорила мать (она мучилась астмой, но все равно смолила одну за другой папиросы «Казбек»), – это самый веселый вальс Шопена. Он был молодой, очень красивый, нравился многим женщинам. Как-то он пришел в гости к известной писательнице, а та была занята и Шопена попросили подождать. И в комнате, кроме него, была только маленькая пушистая собачка, очень балованная. На шее у нее был колокольчик, собачка носилась по комнате, играла с собственным хвостом, забавно подпрыгивала и колокольчик звенел ей в такт. Шопена это развеселило, и он стал подыгрывать собачке на рояле. В эту минуту вошла писательница, рассмеялась и спросила, сможет ли он сочинить музыку под этот собачий танец? Шопен согласился и на следующий день принес ей ноты вальса, который называл «Минутка»<sup>1</sup>. Ведь это была и его счастливая минутка в жизни.

– А почему «Минутка»? – спрашивал Коммунар, и жесткая рука матери ерошила ему волосы.

– Потому что счастья в жизни и так немного, а беззаботного, легкого счастья совсем мало. И оно длится очень недолго. Но человек помнит о нем всю жизнь.

– Почему? – не отставал сын.

– От него хочется летать, петь, смеяться и прыгать, как та маленькая собачка. Это счастье самое светлое, беспечальное. Как летнее утро. Оно чистое, настоящее...

Мать еще что-то говорила, но Коммунар уже не разбирал слов. Он засыпал, положив голову на ее колени. Трудно было поверить в свежее летнее утро, когда за окном плакал ночной ветер, и капли дождя стучали в стекла, а от матери пахло щелоком и пылью...

И вот теперь, когда уже давно нет матери, и давно реабилитирован отец, а сам Коммунар Бенедиктович превратился в пожилого, серьезного человека, на него словно откровение нашло! Каждый день по четыре часа он терзал отцовский Petroff, пытаясь извлечь из его глубин кружевную «Минутку». Но толстые сосисочные пальцы упорно выдавали нечто, похожее на шопеновский похоронный марш!

– Вай, – кричала толстая Зарифа, соседка по угловому дому № 13, что на четвертой Хребтовой. – Вай! Кому-Нар (она выговаривала имя профессора именно так, что в непереводаемой игре слов обозначало кому гранат?), – и что случилось?! Кто умер?

– Менечка, – деликатно взывал с балкона репетитор по физике и математике Анатолий Иосифович, – это, конечно, не мое дело, но, может быть, вы перестанете терзать инструмент и Шопена? Он уже вертится в своем гробу, уверяю вас! Обратите свое внимание на что-то другое, вы ведь интеллигентный человек, в конце концов!

– Каждый день – до-дамм, до-дамм, бумм! – жаловалась портниха Нина, жившая на первом этаже и бравшая заказы на дом, – сил моих больше нет! Да еще ко-

<sup>1</sup> На самом деле Шопен никогда не называл своих произведений. Но этот вальс он назвал «Вальсом маленькой собачки». Ничего общего со знаменитым собачьим вальсом он не имеет. А вот название «Минутка» появилось позже, но именно оно стало окончательным названием произведения.



лотит так сильно, швейную машинку своим буханьем перекрывает.

– Мне уже стыдно перед соседями, – совестила жена. – Хорошо, что дети взрослые, не с нами уже живут. Но я в чем виновата? На улицу не могу показаться, все подбегают и у каждого в глазах два вопроса.

– Какие? – не переставая насиловать пианино, вопрошал Коммунар Бенедиктович.

– Когда все это кончится, и не сошел ли ты с ума?!

Но Коммунар Бенедиктович был непреклонен! Словно Сизиф, он штурмовал музыкальную гору, продвигаясь вперед по шажочку и скатываясь обратно на два шага.

Прошла весна, всегда такая стремительная в этом южном городе. Миновало долгое неистовое лето, и наступили последние сентябрьские дни. В этом коротком, полном грустной прелести времени таился запас сил и энергии. Коммунар Бенедиктович принялся штурмовать Шопена с еще большей яростью!

И вот уже неуклюжие, камнепадные звуки сменились более легкими, в них появились ликующие, игривые ноты. А затем и вовсе музыка наполнилась звоном и счастьем.

Теперь пальцы профессора не казались сосисочными, они скользили по клавишам и летали над ними, словно в них струилась не кровь, а шампанское.

Теперь уже соседи подходили к окнам и балконным дверям, чтобы послушать звуки, лившиеся из профессорского дома. И даже старые сосны, уныло кряхтевшие от каждого порыва ветра, стояли неподвижно и тоже слушали. И в эти минуты крепко верилось, что в жизни бывают моменты беспредельного, сплошного счастья, не омраченного ни печалью, ни раздумьем, ни заботой. Счастье, о котором говорят не «да, но...», а просто одно твердое «Да»!!!

– Это надо же, – не то с завистью, не то с восхищением покачивал головой сосед-репетитор. – Он все-таки сделал это! Чего только не бывает в жизни...

– А я ичто гавариль? – шумно вздыхала необъятная Зарифа, имя которой по иронии судьбы означало «тонкая, нежная». – В наш дом плохой люди не живёт! Ай, маладес! – одобрительно кивала она в сторону профессорского окна и заговорщицки добавляла: – Когда Аллах талант даёт, то уже во-от такой большой даёт! – и разводила при этом руками, определяя размер выдаваемого таланта. – А если не дает, то совсем не даёт!

И при этом сокрушенно посматривала на окна своей квартиры, где за письменным столом битый час корпел над уроками ее внук.

А портниха Нина лишь улыбалась и подносила руку к глазам. Но мелкие слезы терялись в морщинках и поэтому казалось, что Нина лишь жмурится на солнце.

На следующий день после виртуозного исполнения «Минутки» Коммунар Бенедиктович с супругой гордо спустились во двор, не спеша прошествовали мимо восхищенных соседей и направились на базар. Надо было засолить капусту на зиму; последние теплые дни были на исходе, и за ними вновь надвигалось время, когда дождь стучит целый день в окна, а солнце выглядывает лишь на минутку...

## **Свободный**

«Вильгельм-Дроня»...

Его давно уже называли так. И за глаза, а порою и в глаза. По имени-отчеству его величали только гардеробщица тетя Вера да редактор переводческого отдела Лев Зусьевич – оба люди пожилые, хранящие верность церемонным обращениям. Иногда ему казался странным звук собственного имени – он вздрагивал и подслеповато моргал бесцветными глазами. Гораздо привычнее, чем выпретенное Артемий Кон-



стантинович, было обращение по фамилии – Сорокин, а еще привычнее эта странная кличка – «Вильгельм-Дроня». Он не обижался: казалось, порог обиды, унижения, насмешки не существовал для него. Да и как можно унижить человека, не стеснявшегося ходить на работу в измятой донельзя рубашке, заляпанном пиджаке с вечно болтающимися пуговицами и побелевших от времени брюках. Когда ему намекали на несоответствие внешнего облика высокой должности корректора в крупном журнале и пеняли на неэстетичную одежду, он лишь пожимал плечами, и некое подобие улыбки появлялось на серых губах.

Сорокин не то, чтобы пренебрегал материальными ценностями – ему нравились и добротная одежда, и хорошая еда, но он не считал нужным самому добиваться их. Есть – хорошо, нет – тоже славно. Он не выпрашивал ни путевок в санаторий, ни интересных командировок, не требовал прибавки к зарплате, ни даже отпуска в летние месяцы. Но и витающим в облаках переростком его тоже нельзя было назвать. Он как бы существовал в двух параллельных мирах, причем материальный, плотный и зримый был где-то внизу, и в нем Сорокин оставлял лишь свою оболочку, действительно неэстетичную. Душа же парила в поднебесье, беседовала с Пушкиным, восторгалась Державиным, спорила с Ахматовой и Шелли и упоенно замирала перед небесно-золотым чертогом своего кумира – Вильгельма Кюхельбекера.

Незадачливый поэт, имя которого, в основном, упоминалось в общем списке «Поэты пушкинской поры», друг Пушкина и Баратынского, декабрист и коллежский асессор – был всем для Сорокина. Стоило ему завалиться на диван с потрепанной книжкой стихов Кюхельбекера, как время замирало, и жизнь казалась одним большим, сплошным праздником. Он искренне полагал, что только переменчивая фортуна оставила Кюхлю в вечной тени его великого лицейского товарища и если бы не роковая цепь случайностей, то именно Кюхельбекер, а не кто-то другой блистал на литературном небосклоне той поры. Сорокин знал о Кюхельбекере все, книгу Тынянова «Кюхля» цитировал чуть ли не наизусть и так надоел сослуживцам, что кличка «Вильгельм» пристала к нему всерьез и надолго.

Семьи у него, конечно, не было. Как-то не задерживались жены рядом с человеком, с которым даже Обломов со своей любовью к дивану и халату казался сгустком энергии.

Впрочем, дамским вниманием Сорокин не был обделен. Трудно сказать, что манило их в нем – нелепом, неряшливом, не вписывающемся ни в один из стандартов, привычных человеческому сознанию. Не человек, а одно сплошное «не». Несовременный, непрактичный, незаземленный. Очевидно, это «не» и притягивало к нему женщин. Брутальность или то, что выдается за нее – нагловатость, резкость, властность прискучивали им, и они припадали к старомодности Сорокина, как к живительному роднику, бессознательно ища в нем ласки и тепла. До Сорокина в конце концов доходило, что дамы ждут от него не только интеллектуальных бесед, и он, как ни странно, оказывался страстным любовником. И женщины, пораженные этими новыми талантами Сорокина, сохраняли о нем трогательную и благодарную память. Но ни одной из них не удалось задержаться надолго – для этого нужна не только удивленная нежность, но и бег в одной упряжке по дороге жизни, а впрягаться и тем более бегать Сорокин решительно не умел. И женщины оставляли его, кто со слезами, кто с криком, кто с упреками, и Сорокину было тяжело от их боли, но изменить что-то в себе он не мог. Все облеченное в плоть и кровь существовало для него словно за стеной невидимого бассейна. За его пределами шумела жизнь, – не всегда понятная, тяжелая, добрая, жестокая, милосердная – она неслась, мчалась, рвалась и создавала связи, но Сорокин существовал в своем плотно замкнутом бассейне, и немеркнувшим светом для него был образ Вильгельма Кюхельбекера.

Вторая, более ранящая часть клички – «Дроня» расшифровывалась просто. Вильгельм Кюхельбекер, будучи на поселении в городке Баргузин Иркутской области,

умудрился жениться там на дочери местного почтмейстера Дросиде Ивановне Артемовой, миловидной, но почти неграмотной и очень раздражительной бурятской девице. Она не могла выговорить и фамилии своего мужа, называя его «Клухербрехером». Но он звал ее ласково «Дронюшка», ей он читал свои сентиментальные стихи и во всем потакал. В ее облике заключались для него уют и обаяние, нежность и женственность. Впрочем, милый поэт был не оригинален. Разве за несколько веков до него странствующий рыцарь из Ламанчи не обожествил крестьянскую девушку Альдонсу Лоренцо и не нарек ее Дульсинеей Тобосской? Что нам стоит дом построить – нарисуем, будем жить!

Нелепый, долговязый, глухой на одно ухо (а к старости и вовсе ослеп), Кюхельбекер – драчун и дуэлянт, добряк и умница, человек, в жизни которого было больше безудержной пылкости и недоразумений, чем здравого смысла, был близок Сорокину и недосыгаем для него. Донкихотство Кюхельбекера было несвойственно Сорокину – для этого он был слишком пассивен. Но – безумству храбрых поем мы песню! Само очарование подвигом, отвагой, куражом уже зажигало золотой свет счастья в сердце скромного корректора литературного журнала. Имена Вильгельм, Дросида, Дроня не сходили с его уст. О Кюхельбекере он мог говорить бесконечно, мечтал съездить в Тобольск и поклониться его могиле. Сослуживцы, заметив издали в коридоре долговязую сутулую фигуру, под любым благовидным предлогом бросались враспынную. Взволнованный шепот «Вильгельм-Дроня» отскакивал от стен как клич SOS. Сорокин не слышал этого. Снисходительный к окружающему миру, он не доверял ему и стремился в собственную обитель радости – к вожделенному неистовому романтику Вильгельму и его ненаглядной Дросиде. Только с ними он испытывал чувство неомраченного счастья – такое состояние он пережил только раз, когда в девять лет впервые увидел море с высокого утеса. Необъятность двух стихий – небесной и морской – так потрясла его, что ночью он долго не мог уснуть, и мать выговаривала отцу, что нельзя сразу обрушивать на мальчика столь яркие впечатления. Никогда более это состояние не повторялось – даже самым радостным моментам жизни всегда сопутствовала неуверенность, тревога, подозрительность. Они легкой тенью заволакивали счастье и мешали ощутить его сполна. Но, слава Богу, никуда не денутся бескрайность и широта двух лазурных стихий, потому что они вечны, и, слава Богу, никуда не денутся Вильгельм и Дросида, потому что они уже в вечности, а значит, незыблемы. А если так, что значат все насмешки и подтрунивания, все намеки и жалостливые взоры? Он, Сорокин, маленький ничтожный человек, жалкий корректоришка, возмущающий и даже оскорбляющий своим видом более успешных сослуживцев – на самом деле богаче их всех. У него есть бескрайность моря и неба, есть Вильгельм и Дросида, есть изумительная легкость отказа от всего заземленного, материального, вещного. Он, нелепый «Вильгельм-Дроня», счастливее них. Он...

После очередного отпуска сотрудники журнала не сразу заметили отсутствие «Вильгельма-Дрони». Затем по отделам дружно прошелестело радостно-удивленное: «Да вы что?! Взял расчет? Неужели уехал? В Тобольск? О, Боже! Ну, туда ему и дорога! С милым сердцу Вильгельмом остаток жизни проведет. А квартира как же? Дурак – он и есть дурак. Дальним родственникам оставил? Повезло им. Хорошо еще, что не чужим людям. С такого бы случилось. А кем? Школьным библиотекарем?! Фи-у-у! Да, что с такого возьмешь? Блаженный и есть. Ну, хоть позорить отдел своим драчным видом не будет. Все к лучшему!»

– Хороший человек Артемий Константинович, умница. Дай ему Бог. Скучно без него будет, – задумчиво протянула гардеробщица тетя Вера.

– Да уж, – неопределенно пробормотал неповоротливый, похожий на встречанную птицу, редактор переводческого отдела. И вздохнул полужавистливо:

– Свободный.

## Неловкость

*Совесьть ночью, во время бессонницы,  
несомненно, изобретена.  
Потому что с собой поссориться  
можно только в ночи без сна.  
Потому что ломается спица  
у той пряжи, что вяжет судьбу.  
Потому что, когда не спится,  
и в душе находишь судью.*

**Борис Слуцкий**

Вечное качество интеллигента – испытывать неловкость в любой щекотливой ситуации – не оставляло его. Кажется, это называется «испанский стыд»: сделал неблагоприятное кто-то другой, а стыдно тебе.

Но почему именно к этому случаю, – Господи, уже 35-летней давности, – так настойчиво, так упорно возвращалась его память? Словно на какое-то время она перестала быть волшебным орудием человеческого мозга, а превратилась в мясорубку с застрявшим куском жилистого мяса. Мясорубку заклинило – и не туда, и не сюда, точно так же заклинило и его память, с дьявольской услужливостью поставившей издерганному сознанию один и тот же давний эпизод.

И знала же проклятая, когда нападать. Всегда в один и тот же час – в половине четвертого утра. Как заведенный, открывал он глаза и продолжал лежать в постели, с недавнего времени одинокой. Подруга жизни, как высокопарно называли жену в старинных пьесах, покинула его и этот мир. Они прожили вместе 36 лет, вырастили двух успешных сыновей, обзавелись внуками. Сыновья поочередно звали его к себе после смерти матери, но менять привычки в старости трудно. Не то, чтобы боль утраты сильно жгла его, жена давно болела, и он привык к ее болезни так же, как привык к ней самой, но оставить дом, где все было ему знакомо, и главное – где он был хозяином, он не мог. К счастью, немощь еще не одолевала и в посторонней помощи он не нуждался.

К тому же хозяйствовал он исправно. Дом не приобрел сиротливого облика, как это обычно бывает после ухода хозяйки, наоборот, в нем по-прежнему приветливо светились чистые окна за цветными занавесками и пахло теплым живым духом.

Все было бы ничего, если бы не заклинившая в половине четвертого утра память. Хотя, в принципе, и это объяснимо. Одиночество пожилого человека, бессонница, ночная тишина, не с кем словом перемолвиться – вот и лезут в голову разные мысли. Но отчего именно эта, что не так он сделал в тот ноябрьский день 35 лет назад?..

Он, тогда еще не солидный, обрюзгший Мстислав Ильич, а просто Славик, жил в коммунальной квартире и работал в редакции крупного литературного журнала. Жаль, что древние греки не придумали музу журналистики: Славик творил явно под ее благосклонным взором. Он был, что называется, подающим большие надежды и восходящей звездой эссеистики. Старшие коллеги отмечали его литой «римский» слог и деликатную манеру повествования, наперебой хвалили и каламбурили, что «Слава составит славу отечественной журналистики».

Был среди его знакомых некий Марк Эльдарович Роскин. Вот с него-то, пожалуй, и началась вся эта история.

Был это приземистый добродушный толстячок с настоящим брабантским брюшком. Славик за глаза даже называл его Ламме Гудзаком – так разительно было сход-

ство Роскина с неунывающим героем Костера. Прибавьте к этому карие веселые глазки, пухлую инжирину носа, толстые щеки, усыпанные веснушками – и перед вами истинный маленький фламандец. И только волосы, некогда рыжеватые и густые, стали сейчас снежно-белыми и легкими, как пух. Они не поредели, но словно утратили былую плотность и теперь трепетали от каждого порыва ветра. Это придавало облику толстячка воздушность и, глядя на него, хотелось улыбаться. Марк Эльдарович излучал радость, хорошее настроение, а такие люди – редкость во все времена.

Помимо внешности и жизнелюбия он обладал еще одним потрясающим даром – умел великолепно, обаятельно и живо рассказывать о людях, с которыми его свела судьба. Этот дар, пожалуй, был особенно ценным для Славика. Именно в этих феерических, полных искренней любви рассказах черпал он материалы для своих эссе. И, надо признаться, никогда не забывал поблагодарить старика. А тот...

Тот прямо расцветал от похвал и сыпал, бросал, кидал к перу Славика роскошные букеты своего вдохновения. Рассказчиком Роскин был отменным, под стать Ираклию Андроникову, чье мастерство стало легендой.

Заводил он, к примеру, разговор о какой-то давно умершей актрисе:

– Ах! – вначале следовал полувздох-полупауза, и маленькие глаза прикрывались; веки подрагивали. Перед внутренним взором рассказчика вероятно возникала героиня самозабвенного монолога.

Затем откуда-то из глубин серого пиджачка к слушателю вытягивалась пухленькая ладошка лодочкой. Она выражала безмерную скорбь по поводу рано ушедшего таланта.

– Дорогой мой! – пауза, наконец, прерывалась. – Если бы вы только знали, что эта была за женщина! Колдовство, магия, богиня! Любые эпитеты будут жалки! Человеческий язык груб и темен, в нем нет слов, чтобы описать ее! Она была музыкой, феей света, чудом! Каждый жест ее был лучезарным, походка летящей, голос – волшебным. Как она играла Джульетту!.. Боже! В 42 года играть Джульетту и сделать так, чтобы зритель поверил в твою невинность, чистоту, прелесть, в твои 14 лет! Чтобы он забыл о морщинках на твоём лице и уже не девической талии? Что это? – Марк Эльдарович подпрыгивал на толстеньких ножках и всплескивал руками. – Что это, я вас спрашиваю? Что это, как не дар Божий, великий талант? А сколько грации, обаяния, изящества, ах!

И из глаз Ламме Гудзака лились непритворные слезы. В эти секунды Славик думал, что надпись «незабвенным» на лентах к похоронным венкам не только красивые слова, и что есть люди, в памяти которых любимые люди всегда живы.

И так же волшебным и «вкусно» Марк Эльдарович умел «обставить» любое свое повествование. Если он говорил об известном поваре, то от названий блюд, казалось, исходил аромат, и слушатель нетерпеливо сглатывал слюну. Если о музыке, то в голосе его плакала скрипка и глухо звучал тромбон. Он не рассказывал, а разворачивал действие, как разворачивают военные знамена и начинают наступление. Победителем в этой войне был неизменно он, а побежденный чувствовал себя счастливейшим из смертных. Где и когда еще удастся услышать столь вдохновенные речи?!

Иногда старик утомлялся и начинал рассказывать о том, как во время его юности одевались женщины, какой трамвай шел от Шестнадцатой Завокзальной к центру города, и какой на балконе рос виноград – «сорт «дамские пальчики», такой же нежный и вкусный, как они!».

При этих словах он подмигивал в сторону Славика, но тому вдруг становилось грустно. А отчего, он и сам не знал. Вероятнее всего, все дело было в белых пуховых волосах Ламме Гудзака. Они были похожи на облако и так не вязались с земным жизнелюбием их хозяина. И в эти минуты пронзала мысль: недолго еще упиваться роскошью живого рассказа, надо ловить бесценные мгновения!

– Тома-а-а, – кричал старик жене. – Томочка, чаю бы нам! – голос сразу становился визгливым: так старик уравнивал полет вдохновения с обыденностью.

Появлялась Тамара Ефимовна, худенькая, очень белокожая женщина. Она сосредоточенно несла перед собой поднос с чаем и печеньями, и в каждом ее движении была забота и тревога: все ли в порядке, хорошо ли ее неугомонному Ламме?

Но Ламме был доволен, Ламме витиевато и изысканно благодарил ее, и она так же церемонно отвечала, чуть склонив голову набок. И Славику казалось, что все в этом доме подчинено законам какой-то неведомой пьесы, и что она не прискучивает ни исполнителям, ни зрителям.

Однажды старик так воодушевленно рассказывал о каком-то поэте, что Славица осенила идея.

– А что, если вы сами напишете о нем воспоминания?! Правда, Марк Эльдарович! В декабре его юбилей, журнал отметит это непременно. Напишите, это будет, так сказать, материал из первых рук. Одно дело – кто-то другой пишет о нем с ваших слов, а другое дело вы – современник, личный знакомый. Это же здорово!

– Во-первых, не кто-то, а вы, Славушка, – старик перегнулся вдвое и метнул на него быстрый взгляд. Но в позе его не было угодливости, жалкой в пожилых людях; скорее – почтение с легкой хитрецей. – Вы, вы! – добавил он решительно, и глаза его озорно вспыхнули. – Вы у нас блестящий эссеист, и я буду счастлив, если на моем могильном камне напишут: «Он был другом Мстислава Горчева», а люди будут тихо спрашивать: «Неужели самого Горчева?!» и с уважением озираться на мою пыльную могилу!

– Польщен, – шаркнул ножкой Славик, – но, Бога ради, оставим в покое пыльные могилы и вернемся к журналу. Смотрите, Марк Эльдарович, вы уже расстроили жену, она чуть не плачет.

И правда, глаза верной подруги Ламме наливались слезами, а выражение лица становилось совсем детским. Она не могла слышать даже шутливых разговоров о смерти. Обожаемый Марик был для нее всем: мужем, ребенком, другом. Единственный их сын умер мальчиком в войну и больше детей у них не было.

– Сам не знает, что городит, – ворчала женщина, – ему только меня бы дразнить.

– Марк Эльдарович, напишите, а? – уже серьезно просил Славик. – Поверьте, это будет грандиозно с вашим-то талантом. Вы только оформите все на бумаге, а я передам главному редактору. Я ему все уши прожужжал о ваших рассказах. Он будет счастлив опубликовать вас. А я почту за честь лично вручить вам номер журнала. Миленький, пожалуйста!

– Вы уверены? – лицо Ламме Гудзака приняло непривычное тревожное выражение. – Вы думаете, у меня получится?

Славик искренне удивился.

– А чего тут уметь, с вашим мастерством?! Просто перенесите все на бумагу и отдайте мне.

Старик колебался и о чем-то напряженно думал. Потом принял прежний вид и беззаботно махнул рукой.

– Была не была! Напишу!

Дальше все происходило словно во сне. Покатилась череда каких-то неотложных дел, прошел сентябрь, октябрь, ноябрь перевалил за половину. И только когда редактор напомнил ему об обещанном материале на декабрь, Славик хлопнул себя по лбу и отправился к Роскиным.

Как ни упрашивала его добрейшая Тамара Ефимовна пообедать или хотя бы выпить чаю, как ни радовался бурно сам хозяин, Славик наотрез отказался задержаться. Ноябрьские сумерки наступали быстро и надо было еще успеть заскочить в несколько мест. Он, не глядя, схватил рукопись, свернул ее, и так же, свернутой, передал редактору.



Редактор обещал дать ответ через три дня. Но будь она неладна – эта дьявольская круговерть дней и дел, когда не помнишь себя от усталости, когда превращаешься в механизм, которому надо выполнить и то, и это, и третье, и ни в коем случае ничего не упустить из виду. И вроде бы везде успеваешь, а потом оказывается, что упустил крохотное мгновение, когда можно было бы не совершить роковой ошибки. Но мгновение упущено, и уже ничего не поправить. Славик напрочь забыл спросить редактора о рукописи, а тот и не заводил разговора.

Утром 28 ноября ему позвонила Тамара Ефимовна и тихим голосом попросила зайти.

– Нет-нет, ничего не случилось, – уверяла она его, – просто Марку Эльдаровичу нездоровится, а он так хотел бы вас видеть.

Как только Славик переступил порог гостеприимного дома, ему стало ясно, что произошло что-то тяжкое. Так бывает, когда в цветущий садовый куст вдруг въезжает, к примеру, газонокосилка и ломает его. На земле валяются растерзанные грязные цветы, оборванные листья, стебли. Куст еще живой, корни не повреждены, но от былого великолепия нет и следа.

– Что случилось, Тамара Ефимовна? – шепотом спросил Славик.

Женщина бодрилась, хотела что-то сказать, но губы ее задрожали. Она только махнула рукой и беззвучно заплакала.

– Тома-а-а, – послышался надтреснутый голос. – Я тебе запрещаю плакать, слышишь? В конце концов, сам виноват. Славик пришел?

– Вы не заходили, – торопливо заговорила Тамара Ефимовна, – а Марик – ну, вы же знаете, какой он ребенок – ему интересно было, что скажут о его рукописи, и он выведал адрес и сам пошел в редакцию. Я толком не знаю, что там было, но вернулся он весь зеленый. На нем лица не было. Молча бросил рукопись на стол, лег в постель и с тех пор не встает. Уже восемь дней. Спрашиваешь, что болит, говорит – ничего. Но сам тает, я же вижу. Ему плохо, а он мне улыбается, ласточка моя... – у нее опять задрожал подбородок.

– Ну, не надо, Тамара Ефимовна, прошу вас. Это просто недоразумение какое-то, сейчас разберемся. Я к нему пройду, можно?

Перемена в Марке Эльдаровиче была разительная. Из добродушного Ламме Гудзака выкачали воздух, силы, улыбку. На маленькой, почти детской кровати едва возвышался он, жалкий, сдувшийся, как воздушный шар. Даже белый пушок на голове казался приклеенным и серым.

– А, Славочка, здравствуйте. Нечасто нас посещает Слава! – Ламме еще пытался шутить. – Да все в порядке со мной, – он поморщился на безмолвный вопрос. – Это женщины вечно все преувеличивают.

– Нет, – запротестовала жена. – Славик, может, я ничего и не понимаю, но он вернулся сам не свой из редакции. Ему сказали, что это все чушь и ерунда, что такие рукописи близко к журналу нельзя подпускать. А по-моему, написано замечательно, я читала и плакала от восхищения. Посмотрите вы, как профессионал, ну, может быть, там есть какие-то грамматические ошибки, человек-то уже немолодой, но главное, ведь суть! А буквы-запятые выправить всегда можно. Зачем же человека так обижать?! – из глаз ее посыпались слезы.

– Ласточка моя, – донесся с кровати вздох. – Слава, скажите ей, чтобы не плакала, не могу я это слышать.

– Хорошо, вы только не волнуйтесь. Можно мне посмотреть рукопись?

Пробежав глазами несколько строк, Славик закусил губу и прошел к окну, словно ему не хватало света. Стоя лицом к окну было легче скрывать свои эмоции.

То, что он читал, было чудовищно. Поразительно бездарно и пошло. Славик подумал, что главный редактор, конечно, хам и невежа, раз наговорил невесть что пожилому человеку, но уж в отсутствии профессионализма его не обвинишь. Все, что



в устных рассказах сияло, искрилось, переливалось всеми красками, на бумаге стало мертвым, тусклым и банальным. Куда-то испарились яркие, сочные образы, сравнения, артистичность, особый язык, придававший рассказу вкус, цвет, запах, трепет самой жизни.

Умерли изящество и душевность речи. Умер – во второй раз! – сам герой эссе, звонкий, веселый поэт, чьи стихи были наполнены светом и воздухом. Он умер, раздавленный бесконечными «*ибо; следует подчеркнуть; необходимо отметить; из вышеизложенного следует; беспощадная смерть вырвала из наших рядов одного из представителей поэтического стана*» и прочими монстрами канцелярского стиля.

Славик читал и поражался. Неужели возможно, чтобы человек с таким светлым даром устного рассказа оказался настолько беспомощным на бумаге?.. Увы, видимо, да.

На душе у него стало скверно; он не решался повернуться.

Но маленькая пожилая женщина, любящая ласточка, не выдержала:

– Ну, как? – прервала она молчание. – Не правда ли, чудо, как хорошо?! Скажите же, Славик, мы только вам и верим!

Что он мог сказать им, двум парам напряженных глаз, с надеждой глядящих на него?..

– По-моему, написано превосходно, – пробормотал он. – Очень художественно, ярко.

Тамара Ефимовна просияла:

– А я что говорю! Простите меня, Славочка, но ваш редактор просто хам и дурак. Он ничего не понимает. Боже, какое счастье, что вы пришли. Что значит – настоящий специалист! Марик, ты слышал? У тебя превосходная статья! Это Славик сказал. Нет, и не просите, я вас никуда без обеда не отпущу!

И мгновенно был накрыт стол, и сухонькие ручки ее летали над скатертью, выкладывая тарелки с немудреной закуской. И хозяйева говорили без умолку, подкладывая ему самые вкусные куски и поднимали рюмки с наливкой за «славу отечественной журналистики», а ему было неловко, стыдно и гадко на душе.

– Так мы можем на вас надеяться? – Тамара Ефимовна говорила непривычно властно и быстро, словно боялась, что ее прервут. – Я все понимаю, Славик, вы подчинены вашему главреду, этому хаму, но вы – немаленький человек в редакции, он обязан прислушаться к вашему мнению. Боже, и как таких людей только держат на работе? Скажите ему все, что вы думаете о рукописи Марика, и пусть он печатает ее без разговоров! Я правильно говорю, Марик, ну скажи хоть слово!

Марк Эльдарович смотрел на него и трудно было сказать, чего больше в этом взгляде... Мольба, надежда или тень страшного прозрения – он бездарен на бумаге?.. Страх? Отчаяние?

Нет! Снова мольба, снова надежда в круглых карих глазках. И пушок на голове вновь побелел. Ламме Гудзак возвращается!

Славик собрался с духом:

– Да, я поговорю с редактором. Все будет хорошо. Он, наверно, просто, не вчитался. Но вообще он грамотный человек, – защитил коллегу журналист.

– И слушать ничего не хочу! – возмутилась Тамара Ефимовна. – Просто вы, Славик, очень хороший человек и не хотите никому причинить вреда. Но ваш главный редактор – спесивый дундук.

– Ласточка, – опять вздохнул Марк Эльдарович. Он чему-то улыбался и скатывал из хлебного мякиша шарик. Пальцы у него были совсем белые и какие-то плоские. – Ласточка, – повторил он почти шепотом.

Славик бегом скатился по лестнице. Оборачиваться ему не хотелось – очень трудно обернуться на людей, которые приветливо машут тебе вслед и знать, что обманешь их.

С редактором он, конечно, не поговорил. Да тот и не стал бы слушать – не о чем было говорить.

Статью в юбилейный номер он не написал. Не смог.

И, конечно, больше он никогда не бывал в гостеприимном доме Роскиных.

Он не подходил к телефону, а дома и в редакции попросил, чтобы всем говорили, будто он в командировке.

Ему передавали, что два раза кто-то звонил и тихим старческим голосом просил к телефону Мстислава Горчева, но перезвонить он так и не решился.

А потом, к счастью, опять закрутила-завертела жизнь, и дом Роскиных вместе со своими хозяевами отплыл в черные льды памяти. Он вспоминал о них все реже и реже, и вспоминая, оправдывал себя. И действительно, что ему оставалось делать? Лишить стариков надежды? Или отстаивать галиматью перед редактором?

Нет, ничего он не мог сделать. Но отчего все тридцать пять лет эта история не дает ему покоя? Отчего терзает его в этот глухой предутренний час, когда душа легче всего устремляется в небо?

Зайди он через три дня в редакцию, заведи сам рукопись, все бы обошлось. Уж он-то бы нашел нужные слова и никто не был бы в обиде.

Но, видно, так устроена жизнь. Слово кошачья лапа, она то гладит тебя, то впивается когтями. Может быть, просто для того, чтобы дать почувствовать – ты еще живой.

А может, и еще для чего-то...

## ***Птица с синим хохолком или снова мистика!***

(Из цикла «Питерские зарисовки»)

*Магдалине – дорогой моей подруге с любовью*

Видимо, Санкт-Петербург действительно волшебный, мистический город, во всяком случае, для меня. Никогда и нигде меня не окружало столько знаков и совпадений, как в Северной столице. Но начну по порядку.

Приехали мы в Питер на этот раз вовсе не отдохнуть, а трудиться в поте лица, т.е. волноваться, переживать, нервничать, или попросту поступать в Академию художеств им. Репина. Вернее, поступала (и поступила) дочь, а я была сопровождающим и весьма беспокойным лицом. Но – благодарение Богу, он наградил меня изумительными друзьями. И вот сразу по приезде с удивлением обнаруживаю, что в Питере я каким-то образом оказываюсь в компании «М». В декабре мы останавливались на Невском с подругой Марией. В июле другая подруга – Магдалина – специально приехала в Питер, чтобы увидеться со мной и поддержать нас. Иметь в подругах Марию и Магдалину – уже само по себе знак судьбы. Добавлю еще, что дочь мою зовут Милана, а жили мы на квартире, где была кошка Муся. Кроме того, квартира была недалеко от станции Удельной, где в 2008 году произошли события, описанные мною в одном из рассказов. В общем, совпадение на совпадении. Однако 24-е июля иначе, как вершиной мистики, назвать сложно.

Этот день обещал быть солнечным. Два предыдущих были такими жаркими, что казалось: бакинское лето решило поехать вслед за нами в Питер. Честно говоря, после двадцатидневной прохлады палящее солнце воспринималось нелегко. Нервы наши были на пределе: позади были тяжелые экзамены, и теперь мы с волнением и страхом ждали результата. Ожидание и неизвестность грызли нас, как собака кость, и дабы не быть изглоданными окончательно, нужна была срочная разрядка. Мы решили отправиться в Русский музей и уже собирались выйти из дома, как вдруг:

– Мама, можно я не пойду? – голос дочери звучал просительно.

– Болит что-то?

– Нет, просто... не знаю, что. Настроения нет. Погода как-то давит. Пожалуй-ста, можно я останусь дома?

Уговаривать мне не хотелось. К чему бездумные споры: и так уже все устали, а в музей можно и потом сходить. Тем более, что погода действительно резко изменилась: облака сдвинулись, укрыли солнце, и воздух стал мерцающим, жемчужно-серым. Тихий, неяркий, по-настоящему питерский день вступал в свои права.

Однако сидение дома могло привести к взрыву. Замкнутое пространство, напряжение и неизвестность – котел наших нервов мог лопнуть в любую минуту.

– Идем! – решительно сказала я.

Магдалина (не человек – золото!) безропотно вышла за мной, даже не спросив, куда.

Некоторое время мы шли молча. Настроение было... из рук вон плохое. Идти в музей не хотелось абсолютно. Просто слоняться – тоже радости мало. Впереди нас вышагивали важные жирные голуби, сонные вороны чуть покачивались на ветках деревьев. Во всем их облике читалась безмятежность, она была разлита в самом воздухе. Казалось, что бесчисленные гроздья рябин покраснели от стыда за нашу нервозность, а березы укоризненно спрашивали: «Ну и чего? Чего вы здесь ходите, мрачные, как тень отца Гамлета, и нарушаете мировую гармонию? Ни стыда, ни совести!»

– В один из давних приездов сюда я была в доме-усадьбе Репина «Пенаты». Там мне очень понравилось. Может, поедем? – предложила я неуверенно.

Сказано – сделано! И вот уже легче, а затем стремительней стал шаг, заблестели глаза. У нас появилась цель, значит, действия наши приобрели смысл! Через сорок минут добрались до Финляндского вокзала, взяли билеты, поглядели на ленинский броневичок и через некоторое время сидели в поезде.

Мало того, что небо, асфальт перрона, даже сам воздух были мягкого серого цвета, но и обшивка вагона, сиденья были такого оттенка. Казалось, день накрылся бархатным серым плащом и приготовился спать. Поезд тронулся с места.

Рядом со мной уселся бойкий долговязый мужичок и сразу же стал жаловаться на то, что ему не хватает смешной суммы на мороженое, а «так хочется, так хочется, что мочи нет!». Затем выяснилось, что нужная сумма у него все-таки была, он купил мороженое и довольно засопел. Потом снова заворочался, стал кому-то предлагать издавшие виды штаны («Честное слово, почти новые, два раза только надел!») Их долго не покупали, мужичок с кем-то препирался, прижимал руку к сердцу, что-то яростно доказывал. Наконец штаны купили, хозяин опять довольно засопел, поспешил деньги и начал философствовать на тему: «Хочешь жить – умей вертеться!»

Я сидела вполоборота к нему и смотрела в окно. Мимо, покачиваясь, проплывали названия маленьких станций: Ланская, Удельная, Парголово, Белоостров. Они звучали как далекая музыка. «Что за станция такая? Дибуны или Ямская?» – вспыхивали в мозгу полузабытые строки и на душе становилось хорошо и грустно. Ах, детство, ты было или нет?..

Репино утопало в зелени. Всевозможные кусты и деревья окружали небольшую станцию. Но и тут листва была притушена легким сумеречным светом. День словно извинялся за летнюю яркость и пытался соответствовать деликатной питерской сдержанности.

Дорога до «Пенатов» была неблизкой, но при такой прохладе и «вкусном» лесном воздухе идти пешком – одно удовольствие. Мы отмахали два километра довольно быстро, добрались до усадьбы и... нас постигло разочарование. Кассы были уже закрыты, в дом-музей попасть невозможно, зато можно было побродить по огромному парку вокруг дома.

Парк этот когда-то был разбит женой Репина Натальей Борисовной Нордман-Северовой – писательницей, художницей, женщиной талантливой, яркой, но чересчур экзальтированной. Как сказали бы сейчас – чудаковатой. В саду по ее идеям был выстроен храм Озириса и Изиды, больше напоминающий лубочную избушку, башня Шехерезады – огромное нелепое строение вроде смотровой площадки, маленькие деревянные мостики через пруды, колодец Посейдона с «настоящей артезианской водой». На всем этом лежала печать запустения. Вокруг было тихо, никто не нарушал торжественную печаль усадьбы. На перилах дома сидел огромный пушистый кот, и вид у него был такой, будто он за руку здоровался с самим Репиным, а мы из «понаехавших тут». Он терпеливо дал себя погладить, но тотчас отвернулся и стал вылизываться.

Мы несколько раз обошли вокруг дома. Подивились необычной расстекловке окон, заглянули в окна круглой веранды, служившей художнику рабочим кабинетом. Полюбовались легкими цветами лобелии, голубым ковром покрывавшими площадку около дома, и вдруг вышли к маленькому указателю:

«Великий русский художник Илья Ефимович Репин (1844-1930) завещал похоронить себя на территории усадьбы, на пригорке «Чугуева гора».

Мы стояли перед крохотным, утопающим в цветах пригорком. Венчал его простой деревянный крест. У подножия пригорка стояла небольшая ваза с сухим букетом и несколькими конфетами.

– А в 1987 году, когда я была здесь впервые, тут был бюст Репина, – заметила я. – В 1994 бюст заменили на крест, похожий на тот, который и установили первоначально после смерти художника. Он хотел, чтобы все было просто, чтобы могила его была «между двух можжевельников, так похожих на кипарисы», и чтобы в изголовье его было посажено дерево.

Магдалина промолчала. Где-то рядом с нежным шелестом упал лист, и сразу в тон ему отозвалась маленькая птица с синим хохолком. Начал накрапывать дождь.

– Репину бы понравилось очень, – серьезно и тихо сказала Магдалина. – Бархатный серый день, неяркая зелень, легкие синие цветы, пруды, заросшие ряской, птичка с синим хохолком, тихий дождь. Даже у тебя синий жакет и синий зонт. Готовая картина. Нежность, разлитая в воздухе.

– Это уже больше Левитан, а не Репин, – улыбнулась я. – А когда-то здесь кипела жизнь! Хозяева и гости шумели, спорили, пили чай, играли в крокет, музицировали, рисовали. Кого тут только не было! И Леонид Андреев, и Чуковский, и академик Бехтерев, и молодой Маяковский. Сейчас остались только нежность и память. Ладно, пойдем уже, дождь усиливается.

Я сделала шаг и вдруг остановилась пораженная:

– Магдалина, ты ничего не замечаешь?

– Нет, а что?

– Посмотри на цифры!

К кресту была прибита дощечка с именем художника и датами жизни и смерти.

«Великий русский художник Илья Ефимович Репин. 24 июля/5 августа 1844 – 29 сентября 1930»

– А сегодня у нас какое число? 24 июля! Получается, что мы, сами не ведая того, совершенно случайно пришли к Репину в гости в день его рождения?! Хоть и по старому стилю, но все же!

– Да еще к тому же в юбилей! – ахнула Магдалина. – Сегодня ровно 175 лет со дня его рождения. И это в то время, когда твоя дочь поступает в Академию имени... Репина!

Мы ошарашенно переглянулись и замолчали. Человек я далекий от мистики, но это Санкт-Петербург!.. Тут может быть любое чудо! Я стала лихорадочно рыться в сумке и вытащила две маленькие бакинские конфеты.

– С днем рождения, Илья Ефимович, – совершенно серьезно провозгласила я и положила конфеты в вазочку с цветами.

Уходили мы молча: впечатление от удивительного совпадения было слишком сильным. Птичка с синим хохолком все еще выводила свою песню, и голос ее звучал задорно и ласково. Сумерки сгущались все сильнее, воздух стал звонким и сильно потянуло лесной сыростью. Мы тихонько притворили расписную калитку усадьбы и вышли к стоянке автобуса.

– Чего только не бывает на свете?! Действительно, мистика какая-то, – улыбнулась Магдалина. – Ну кто мог предвидеть, что мы сегодня поедем в дом Репина и что именно сегодня у него юбилей?

– Ничему уже не удивляюсь, – ответила я. – В декабре таких мистических совпадений было хоть отбавляй. И, похоже, чудеса продолжаются!

– В добрый час! – приобняла меня подруга. – В добрый час!

Автобус мягко катил по поселковой дороге. День близился к концу. Дома нас ждали две дамы под литерой «М» – Милана и Муся, и еще ночь тревожного ожидания результатов экзаменов.

И на следующий день наши тревоги разрешились ко всеобщему ликованию и триумфу. Радовалась дочь своему поступлению, радовались я и моя дорогая подруга. Радовались все близкие нам люди. Это же так просто и так прекрасно – разделить радость ближнего.

А я еще раз убедилась в справедливости бессмертных слов: «Если душа человека жаждет чуда – сделай для него это чудо. Новая душа будет у него и новая у тебя».

Санкт-Петербург сотворил для нас это чудо. Он сотворил его не единожды. Спасибо ему за это!

## ***Однажды зимним днем***

День обещал быть неровным. Багров почувствовал это при пробуждении. Неприятно ныл затылок, видно, защемился позвонок, и нудная боль лучами расходилась по спине и плечам.

«Если тебе сорок лет и у тебя утром ничего не болит, значит, ты умер», – вспомнил Багров черноморское изречение и усмехнулся. Ему было 52, на здоровье он не жаловался, сорокалетний рубеж давно позади, и если бы не эта противная боль в позвонке, он еще вполне мог сойти за красна молодца-кровь с молоком.

Правда, молоко в крови давно уступило место коньяку. Багров любил побаловаться вечером рюмочкой благородного напитка. Был гурманом – ценил хороший коньяк, но не брезговал и дешевым, когда дорогой был не по средствам. Коньяк, лимон и немного музыки – идеальный вечер для интеллигентного холостяка. Для полного набора не хватало еще сигар, но Багров не курил.

Багров был разведен: память о шаловливом резвом создании Леночке, бывшем когда-то его женой, давно стала зыбкой и расплывчатой. Леночка прочно и счастливо проживала в другом городе с новым мужем и детьми. Брак ее с Багровым был студенческим: сошлись по пылкой страсти и так же быстро разбежались, без особых сожалений. Иногда глубины подсознания выдавали Багрову смутную картинку: пухленькое, упругое тело, пахнущее ванилью, смешной, вздернутый носик, испачканный мукой и сахарной пудрой. Багрову нравилось наблюдать, как сосредоточенно Леночка готовила оладьи на завтрак: она морщила лоб, заглядывая в книгу рецептов, смешно шевелила губами, подсчитывая граммы в ложках и стаканах, тяжело вздыхала, стоя у плиты и тело ее становилось медово-розовым от жара и просвечивало

сквозь кружевной халатик. Солнце било в желтые занавески на белой кухне съемной квартирки, и Леночка в своем халате представляла сладкой богиней утра. Но это было, пожалуй, самым ярким воспоминанием о семимесячном браке, и больше Багров, как ни старался, ничего хорошего вспомнить не мог. Только утомительный быт, нехватка денег и бесконечные пикировки. Мать Багрова, скорбно покачивая головой, говорила, что исход скоропалительной женитьбы ей был известен заранее, ибо молодые еще не перебесились, что из финтифлюшки никогда хорошей жены не получится и что любят одних, а жениться надо на других. Багров выслушивал эти излияния и думал, что мать все равно бы нашла повод поскорбеть, даже если у него с Леночкой все было бы прекрасно.

Бесконечное жужжание матери бесило Багрова: «Ты сколько бобылем будешь ходить? Я внуков дождусь или нет?», и тут же слезливое: «Один ты у меня. Одна я тебя растила, думаешь, легко мне было, думала, хоть на старости лет порадуюсь, так нет же! Перед соседями стыдно, у всех дети как дети, внучата, а ты...».

Он гасил в себе радость, когда мать уезжала домой, в деревню. Давно было ясно, что ей хорошо там, среди своих сливовых деревьев, кур и уток. А ему было хорошо здесь, в городе, и ниточка между матерью и сыном с каждым днем становилась все тоньше. Не обрывалась, нет, но перетиралась. Взаимные визиты становились все реже, пока, наконец, не сократились до двух раз в год – на день рождения матери и на Новый год. И приезжая, Багров отсчитывал дни до отъезда.

После кончины матери он выждал приличествующий срок и стал сдавать дом на лето. Отбою от желающих отдохнуть на природе не было. Багров не заламывал цену, просил только присматривать за сливами, поливать их вовремя. Кур и уток к тому времени уже не было, и птичник давно стоял пустой, со сломанной дверкой на одной петле, и Багров знал, что никогда ее не подправит, впрочем, как и сам дом, постепенно приходящий в негодность, ибо никакого желания возвращаться в «родные пенаты» у него не было.

Багров любил свою размеренную городскую жизнь, любил ощущать твердость нагретого асфальта под ногами, обутыми в хорошие кожаные туфли. Любил завязывать краткосрочные, необременительные романы с красивыми холеными женщинами. Раньше в нем был силен дух здорового крестьянского рода, почитавшего только женщину-мать, с годами он стал ценить веселых, ярких женщин, у которых, по его словам, «в жилах вместо крови дорогое шампанское». О детях и не мечтал: вначале было не до того, а потом понял, что и не хочет – слишком хлопотным и рутинным казалось все, что связано с детьми.

Любил свою (наконец-то!) небольшую однокомнатную квартиру, где не было ничего лишнего: голые светлые стены, зеркала, металл, стеклянные полочки с книгами, прозрачные тюлевые занавески. Друзья – их у Багрова было немного – говорили, что квартира его похожа на операционную. Багров не возражал, считая, что лингвистика сродни геометрии и не терпит приблизительности и расплывчатости. А специалистом Багров был хорошим, одним из ведущих сотрудников Института языка при Академии Наук.

– Тот, кто любит нагромождение и хаос – пусть довольствуются литературоведением и алгеброй! – рубил он воздух рукой, и слушатели следили, как замороженные, за полетом сухой, красивой кисти с длинными пальцами. – А кому по душе стройность мысли и четкость формулировок – добро пожаловать в геометрию и лингвистику! Все!

Переспорить Багрова было невозможно, но редкие его гости соглашались, что он в чем-то прав. Ничто так не подчеркивало скрупулезности и почти хирургической точности его работы, как обилие отражающих поверхностей. Единственным теплым



пятном в его доме был, пожалуй, торшер чайного цвета. Именно под его мягким светом рождались строгие научные статьи, пересыпанные загадочными словами: эрратив, когезия, амфиболия, семантические поля, когнитивная лингвистика. В их звучании слышался плеск океанских волн – холодных и ритмичных.

Так чем же этот день – обыкновенный зимний с сероватым мягким снежком – так отличался от других, что Багров сразу угадал его необычность? Угадал не сердцем, даже не защемленным большим позвонком, а каким-то особым чутьем, словно внутри кто-то настойчиво гундел: «Нынче произойдет нечто особенное, сегодня, сегодня», и от дурацкого гундения этого становилось досадно.

Хорошо, что шофер был на редкость молчаливым человеком. Сегодня Багров был несказанно рад этому. Обычно он любил поговорить о том, о сем по дороге в институт, и шофер охотно беседовал с ним. Но сегодня тот был хмур, то и дело хватался за щеку, недовольно цыкал – видно, болел зуб. Доехали быстро и Багров отпустил его до завтра.

Неожиданность поджидала его в образе МНСа Жени. Тот бежал по коридору, и вся его фигура выражала радость:

– Дмитрий Григорьевич, тут вам письмо! Помните профессора Ландышева из Института геологии? Его вдова пишет, что хотела бы подарить некоторые вещи друзьям своего мужа.

У Багрова гулко забилося сердце. Старик Ландышев – добряк и умница, был первоклассным специалистом, начитанным, разносторонне развитым человеком. Знал несколько языков, в том числе и латынь, музицировал, собрал у себя в доме коллекцию минералов и шахматных досок.

Шахматы были единственной слабостью Багрова. Когда от лингвистических дебей начинала слегка кружиться голова, взгляд отдыхал на небольшом пространстве из черно-белых квадратиков. У Багрова было несколько видов шахмат – обыкновенных и сувенирных – фарфоровых, керамических, глиняных, деревянных, металлических, даже из черного и белого стекла – подарок коллег на 50-летие, но такого богатства, как у Ландышева, не было. Тот был настоящим фанатом древней игры, они с Багровым частенько разыгрывали партии. И всегда Багров испытывал застенчивую зависть и ревность собирателя – у Ландышева в коллекции было около двухсот тридцати шахмат – из черного, красного и розового дерева, палисандровые, самшитовые, из слоновой и моржовой кости, янтаря, китайского фарфора, чешского стекла. Были резные чугунные, плетеные из сосновых иголок и тростника, даже тюремные из хлеба. Был и настоящий раритет времен гражданской войны, где фигурки делились на «красных» и «белых». И сейчас Багров предвкушал, что вдова профессора подарит ему что-то ценное из коллекции мужа.

Ландышева как нельзя точно соответствовала своей фамилии. Маленькая, худенькая, с пушистым облачком белых волос и удивительно яркими зелеными глазами. И голос у нее был словно ландышевый колокольчик – высокий, мелодичный. Багров вспомнил ее мужа – добродушного увальня, похожего на плюшевого медведя, и улыбнулся. Даже походка у него была чуть косолапая и очень уютная.

– Заходите, Димочка, – приветливо улыбнулась женщина. – Сколько лет, сколько зим!

Слова ее отразились от хрустальной маленькой люстры, и та чуть слышно зазвенела.

Мария Игоревна Ландышева была, что называется, настоящей «мужней женой». Когда мужа спрашивали, почему она, подававшая прекрасные надежды в учебе, так и не стала работать, он отвечал, пряча улыбку в усах:

– Как не работает? Она на ниве служения мне пашет и пашет!

И это была правда. Жена – нелегкая профессия, но Мария Игоревна, видно, была специалистом от Бога. За всю свою пеструю жизнь Багров не видел столь органичного сочетания в одном человеке деликатности, доброжелательства и уюта. Душа дома, светлый огонек, она на все вопросы о секрете семейного счастья отвечала полушутливо:

– Никакого секрета нет. Просто надо делать так, чтобы муж хотел возвращаться после работы домой.

Багров осмотрелся. В большой комнате все было как при жизни профессора. Так же размеренно тикали часы с кукушкой, так же высился стол под золотистой скатертью, так же сидел на диване огромный игрушечный Арлекин в разноцветном, сто раз чиненом костюме. У Ландышевых было трое детей и пятеро внуков, и Арлекин был когда-то их общим любимцем. Но внуки выросли, оставалось дожидаться поколения правнуков, чтобы те по новому кругу принялись трепать клоунский наряд.

– Что вы стоите на пороге? – звонко протянула женщина. – Проходите, я оладий ванильных напекла. Таких вы никогда не ели, ручаюсь! Сейчас и чай подоспеет.

Оладьи действительно были легкие, как пух, и очень вкусные. Багров уписывал одну за другой, а Мария Игоревна журчала:

– Вы можете спросить, как это я раздариваю вещи мужа? Очень просто, Димочка, – мне уже тяжело жить прошлым. В этом доме прошла почти вся жизнь, каждая мелочь напоминает мне о нем, и мне трудно. Для памяти довольно двух-трех вещиц, нескольких статуэток, чашки, ложки, альбома с фотографиями, но когда весь дом превращается в мемориал – так это уже не живой дом, это не жизнь, а мечта Плюшкина. После меня дети раздарят или продадут весь этот антиквариат и правильно сделают. Нельзя жить все время прошлым – это повергает в депрессию, нельзя и будущим – это вселяет тревогу. Вот есть этот день, и снежок, и свежий воздух – и слава Богу. Вы молоды еще и ничем не связаны – может, и не поймете меня сейчас. Но поверьте, рано или поздно понимаешь, что ни к чему нельзя привязываться. Наверно, ни к чему...

Она вдруг погрузилась и добавила раздумчиво:

– Вы так и не женились... Простите, я никогда не задаю вопросов о личной жизни. Ну, что ж, это ваш выбор. Все изменилось, Димочка, свои взгляды никому не навязывай. Да и глупо это. А домик как же ваш в деревне?

– Продал, Мария Игоревна, своему же соседу продал, недорого, там уже рухлядь, а не дом был, – поморщился Багров. – Ни к чему он мне.

– А, ну да, да... Если так, то, конечно ...

Из часов выскочила кукушка, прокуковала пять раз и снова спряталась. Мария Игоревна поднялась:

– Я хотела подарить вам, Димочка, – она запнулась на секунду, – пятое издание словаря Даля 1935 года. Надеюсь, он вам пригодится в работе и останется в вашем доме на память, – прибавила она уверенно.

Женщина вышла в другую комнату и вынесла четыре толстых тома. Багров почувствовал досаду – словарь Даля в нескольких экземплярах и без того украшал его библиотеку. И рассчитывал он на один из редких образцов шахмат из профессорской коллекции. Но с дарительницей не поспоришь.

– Вот, – звонко проговорила она. – Уверена, что вы оцените это издание по достоинству. И всяческих успехов вам в работе. Вы большой труженик.

Багров поблагодарил, подхватил книги и вышел. Обещание неровного дня сбылось. Досада переполняла душу. Багрову казалось, что даже вороны подсмеиваются над ним: «Кар-р, кар-р! Р-р-раскатал губу? Р-р-раз-лакомился?»

Мария Игоревна неспеша подошла к окну. Зимний день погасал в фонарях, и его дрожащий сиреневый свет сменялся желтым электрическим светом. Она видела, как из парадной вышел Багров с тяжелым пакетом в руке. Вся его фигура и резкая, подпрыгивающая походка говорили, что он сильно не в духе.

Женщина улыбнулась и закусила губу. Ей было неловко признаться себе в том, что она впервые в жизни осознанно и вдохновенно соврала. В подарок Багрову предназначался тот самый раритет времен гражданской войны, где фарфоровые фигурки делились на красных и белых.

– И где моя хваленая стойкость? – произнесла она вслух. Вот тебе мемориал, вот тебе – «не привязывайся ни к чему»! Но как отдать дорогое в руки человеку, который вообще ничем не дорожит? Пусть уж лучше дети раздарят, а я не могу. Только зря побеспокоила человека.

День окончательно померк, и клочковатые тучи укрыли небо.

– Тучки небесные, вечные странники, – почти машинально произнесла Ландышева. – Вечно холодные, вечно свободные, нет у вас родины, нет вам изгнания.

Первые хлопья мокрого снега ударили в окно и через мгновение залепили его. Становилось холодно. Мария Игоревна представила себе, как Багров входит в свою комнату-операционную, ставит книги на стеклянную полку, садится в кресло и отчетливо поняла, что ему хорошо и комфортно. И что она, пожалуй, правильно сделала, не подарив ему старинные шахматы.

## **Слово о свекрови**

*Не ищите, не ждите возврата,  
Не смущайтесь насмешкою злой.  
Человечество все же богато  
Лишь порукой добра круговой.*

**Стихотворение безвестной монахини  
Новодевичьего монастыря**

Боже мой, какое счастье – тишина! Лиля никогда не думала, что эта мысль будет посещать ее все чаще. Она всегда была сгустком кипучей энергии, ее жизнь неслась в темпе «очень живо», частенько переходя в «presto» – стремительно. С годами это «частенько» исчезло, и жизнь тупо выплясывала какую-то бешеную тарантеллу. Лиля любила читать перед сном, ей нравился мягкий свет бра – подарка свекрови на свадьбу – с сетчатым фарфоровым плафоном. Он уже был поломан в нескольких местах; бирюзовый, с легкой позолотой рисунок почти стерся, но Лиля не решалась заменить его на новый. Близкие вначале уговаривали ее, твердя, что поломанные вещи в доме не держат, что это не к добру. Уговоры сменились насмешками и уверениями, что такие светильники освещали еще первобытные пещеры. Лиля парировала мягко и упорно. К вещам она привязана не была и, более того, опасалась такой привязанности, как признака старости, но к этому бра испытывала странное чувство – нечто среднее между болезненной слабостью и жалостью. Так обычно относятся к увечному или очень старому человеку в семье – сострадание пополам с нежностью.

Но в последнее время даже на эту нежность не оставалось сил. В бра все реже загорался свет – Лиля падала в кровать и мгновенно засыпала. И все больше жизнь казалась ей огромным унитазом, куда сливались без разбору ее будни и праздники, месяцы и годы. Даже собственное имя казалось ей уже слишком фривольным. Лиля, Лилечка, Лилея – так когда-то звали ее родители, когда Лиля была пухленькой ма-

лышкой с яркими щечками и смеющимися глазами. Круглые щечки превратились в две продольные скорбные складки, смеющиеся глаза стали напряженными, а лоб украсила сеточка морщин. Такая вот нехитрая геометрия была у природы, по большому счету ничего особенного, но весеннее имя Лиля как-то само собой сменилось солидным Лилия Константиновна. И солидной Лилии Константиновне все больше хотелось тишины и покоя, чтобы можно было просто вздохнуть и собраться с мыслями.

А поразмыслить было о чем. Как говорится, «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Лесом, конечно, Лилину жизнь не назовешь, все же дипломированный специалист, с двумя «вышками» – филолог и психолог, боец педагогического фронта, переводчик с трех языков, кандидат филологических наук, жена и мать. Три девочки – старшая 16-ти лет и десятилетние близняшки. И муж, четвертый ребенок, 52-х лет. С детьми долго не получалось, супруги почти потеряли надежду, но в 34 года Лилия родила первую, а через шесть лет еще двух.

Однако райским садом такую жизнь тоже сложно назвать. Оглянуться назад – можно сказать одной фразой: «глаза страшатся, а руки делают». Лилию подчас бросало в дрожь при воспоминании о середине девяностых, когда дети были маленькими, и они с мужем-инженером работали, как оглашенные, на двух работах, а вечерами Лилия со свекровью пекли сладкие кексы и пирожки с ливером и картошкой, чтобы к семи утра успеть отвезти их в буфет ближайшей школы. За выпечку директор школы платил им нормально, она разлеталась мгновенно, но труда и продуктов требовала немало. Лилия вспоминала, как она засыпала в начале четвертого, просыпалась в половине седьмого, сдавала выпечку в школу, бежала на работу, после работы на рынок, потом домой, и так все по кругу. Но усталости не было. На все были силы, находилось время и желание шить себе обновки, завивать кудри, носить каблуки и висячие серьги, успевать на выставки и концерты, танцевать и любить.

Девяностые миновали как спутанный сон.

Но по пробуждении Лилия обнаружила, что свекровь так и осталась во сне... Худощавая, тихая женщина с улыбающимися глазами...

Ничего общего с обывательским понятием «свекровь» как чего-то монстроподобного она не имела. Наоборот, осталась в памяти Лили воплощением деликатности и какой-то старинной изысканной интеллигентности. И дело было вовсе не в том, что свекровь знала в совершенстве французский и итальянский и была специалистом по искусству раннего Возрождения, то есть словно заведомо парила в эмпиреях. Вовсе не в этом. Просто свекровь обладала каким-то нутряным сознанием того, что делать можно, а что нельзя. Она никогда не входила в комнату внучек без стука, а если у тех собирались маленькие подружки, то вообще превращалась почти в тень. Осторожно постучится, невесомо пройдет к столу, поставит поднос с чаем и пирожками, приветливо улыбнется и так же невесомо растворится. На ошарашенное хлопанье глазами юного племени отвечала просто и кротко:

– Гостю честь и место. Если у тебя гости, так им надо внимание уделить, а не в кухне возиться. А мне нетрудно и приятно. Пирожки-то понравились?

Вопрос был излишним. Блюдо опустошалось молниеносно, а в глазах внучкиных подружек надолго застывало выражение изумления и тоскливой зависти: «Нам бы такую бабушку!»

Лилия не помнила, чтобы хоть раз к приходу после работы ее не ждал накрытый стол на кухне. Снедь была нехитрая – суп, котлетка с пюре или вермишелью, зелень. Но свекровь умела оформить это так, будто накрывала стол в Версале. Льняная серая скатерть с красной прошивкой, фарфоровые тарелки, салфетки. Свекровь не признавала клеенок, суп подавала, несмотря на все смешки и уговоры, только в супнице. Даже для горчицы у нее находилась пузатая фарфоровая баночка с крышечкой в виде головы льва.

– Мама, зачем все это? Зачем этот пафос, когда мы едим котлеты из кильки, даже курятина нам не по карману? – иногда срывался сын. – Тебе своих рук не жалко или Лилькиных, все эти скатерти-салфетки стирать?

– Будет день, будет и пища, – с улыбкой, но твердо отвечала мать и верилось: она знает что-то такое, для чего будут уместны и нарядная яркая скатерть и крахмальные салфетки, и фарфоровая посуда.

Со свекровью прозрачными и ясными становились неписанные правила житейского бытия. Именно она ненавязчиво учила Лилию, что идя в поликлинику или в какую-нибудь контору, хорошо бы захватить маленькую шоколадку для секретарши или регистраторши. «Тебе это не составит труда, а человеку приятно». Именно она просто объясняла, что при встрече с людьми надо улыбаться и непременно спрашивать, как у них дела, как дети, и участливо выслушивать ответы. «Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее».

На все возмущенные речи родных свекровь отвечала тихо, но твердо:

– Так меня учили. «Ничто так дешево не стоит и так дорого не ценится, как вежливость».

Фраза Сервантеса, растиражированная в любом хлебном магазине, звучала в устах свекрови искренне и легко. Щепетильность была ее забралом, внутренним стержнем и девизом.

Свекровь никогда не забывала дни рождения родственников и друзей. Каждая доживающая свой век бабулька могла быть уверена, что в забытый Богом и родными день рождения ее непременно поздравят. Неважно, что именинница или именинник зачастую сами не помнили о нем, а поздравление достигало их слуха и разума сквозь толщу старческих болячек. Суть была в том, что вспомнили, поздравили, и еще долго глаза стариков увлажнялись нечаянной радостью.

Лиля никогда не называла свекровь «мамой». Всегда по имени-отчеству – Анастасия Владимировна. Собственной матери она лишилась рано, у отца давно уже была другая семья, но Лиля крепко вбила себе в голову, что мать у человека может быть только одна. А свекровь ни разу не намекнула, не заметила невестке, что ей приятно было бы обращение «мама». Раз по имени-отчеству, значит, так тому и быть. Деликатность превыше всего.

Свекровь любила цветы. Весь балкон был уставлен вазонами и кадками. Между ними надо было маневрировать, это было уютно и приятно, но свекровь ухаживала за своими зелеными питомцами трепетно, и они благодарили ее пышным цветением.

Больше всего любила она крупные королевские нарциссы с их ненавязчивым травяным ароматом и очень сокрушалась, что в день ее рождения, 14 декабря, они еще не цветут. Но сокрушалась как-то тоже тихо, деликатно – погладит узкой ладошкой проклюнувшиеся побеги в вазонах, вздохнет и все. А выгонку считала варварством – издевательством над природой. «Все должно быть вовремя, в свой срок, в свой час, тогда и тебе приятно, и живому не во вред», – приговаривала она.

– Ты присмотри за ним, – однажды тихо обратилась свекровь к Лиле и зеленоватые глаза ее, обычно улыбающиеся, стали печальными. Словно засветилось бирюзовое фарфоровое бра.

– За кем? – не поняла Лиля.

– За мужем своим, – кротко пояснила свекровь. – За моим сыном.

– А что такое? – недоумевала Лиля.

– Понимаешь, нет в нем ярости. Мужчина должен быть иногда яростным, страстным, бешеным. В разумных пределах, конечно, но должен. Я растила его одна, возможно, поэтому он такой...

– Какой?

В глазах свекрови мелькнула беспомощность.

– Ведомый. Не оставляй его, хорошо? Не возмущайся, я знаю, что ты скажешь. Но женщине слабость к лицу, она может быть ведомой, а мужчина нет. А у вас наоборот. У тебя всё получится, а он растеряется. Не оставляй его.

– Да куда я денусь, – попробовала отшутиться Лиля. – Анастасия Владимировна, с чего вы это?..

Но свекровь слабо махнула рукой и прикрыла глаза. Когда она вновь открыла их, выражение было обычным, улыбающимся.

Через неделю свекрови не стало. Муж плакал так, что Лиле отчетливо стало ясно – больше никто и никогда не будет любить и жалеть его так, как мама. Поняла она это сразу, без горечи и обиды. Со свекровью из их дома навсегда ушло что-то очень хрупкое, скромное и деликатное.

Поминки неожиданно выявили, как свекровь любили и уважали на работе. Пришла уйма бывших коллег и студентов, все говорили о глубоких знаниях и огромном человеческом даре Анастасии Владимировны – проявить участие к каждому.

– Золото, а не человек, – трубно сморкался необъятного размера мужчина, давний сослуживец свекрови. – Сейчас таких не делают. Сердце хрустальное...

... – Мам.. – пауза для воспоминаний была нарушена. На пороге стояла одна из близняшек. – А пожевать есть чего?

– Возьми в холодильнике, – машинально пробормотала Лиля. – Сыр, колбаса, овощи.

– Не хочу холодное, – скривилась дочь. – И без того зима.

– Сейчас разогрею котлеты, мой руки. – Лиля отправилась на кухню.

На стене висел календарь. Лиля улыбнулась. Еще одна память о свекрови. Она всегда запасалась такими календарями к Новому году. Находила особые, с репродукциями картин мастеров Возрождения, и на все протесты близких, мол, старомодно и выглядит нелепо в современном дизайне, отвечала:

– Ну это просто такая красота была, что я не могла пройти мимо. Посмотрите, какая печать, как хорошо переданы краски.

Сейчас эта традиция – вешать на стену календарь – осталась легкой горчинкой в памяти.

– Отстань! – сердито выкрикнула старшая одной из близняшек. – Не видишь, у меня настроения нет.

– А что такое? – съехидничала сестра. – Ах да, я забыла, сегодня же тринадцатое, правда, вторник!

– Тебе какое дело? – огрызнулась та. – Хоть среда!

«Значит, завтра четырнадцатое, – обожгло Лилю. – Надо бы на кладбище съездить».

Она разогрела котлеты, позвала детей ужинать. Старшая отказалась, вбила себе в голову, что ей надо худеть, и грызла яблоко. Муж дремал перед телевизором. Лиля осторожно тронула его за плечо.

– Завтра четырнадцатое. На кладбище заехать бы...

– Не смогу никак, дел по горло. – Муж помолчал минуту, будто что-то решая, и снова прибавил: – Нет, никак не получится. – И просительно заглянул ей в глаза: – Может, ты сама, а?.. И от меня цветы положи, пожалуйста. Я как-нибудь в другой раз. Мертвые ведь не обижаются? Ну, не могу я.

– Конечно, положу, – улыбнулась Лиля. – Конечно, не обижаются.

... Она несла в руках восемь маленьких белых гвоздик. Было холодно, Лиля прижимала цветы к пальто и старалась согреть дыханием, но они все равно заиндевели и напоминали испуганных балерин в кружевных пачках.



– Здравствуй, мама, – вдруг как-то само собой просто сказала женщина и опустилась перед небольшим серым камнем. – С днем рождения, – она положила цветы на землю и вздрогнула.

Из сизовато-седой от мороза каменной земли торчали стрелки королевских нарциссов. Луковицы высадили сразу после ухода свекрови, они расцветали, как положено, каждую весну, но чтобы сейчас, в декабре?! Лиля не верила собственным глазам. Но почти каждая темно-зеленая стрелка была увенчана победным тугим бутонем.

– Мама? – полувопросительно прошептала Лиля, и горло ее сжалось.

Солнце прорезало плотное мгlistое небо, несмело скользнуло по земле и легло на руку женщины.

В этот день впервые за много лет у Лили было спокойно на душе. Не то, чтобы тревоги отступили, они, кажется, были ей приписаны навечно, но появилось что-то такое, от чего верилось – все непременно будет хорошо, все исполнится в свой срок, в свой час.

– Положила цветы от меня? – голос мужа звучал виновато и устало.

Лиля оторвала взгляд от книги. Бирюзовое бра отбрасывало мягкую тень, и женщина даже поежилась от удовольствия. Боже, какое это удовольствие – читать перед сном в кровати.

– Да. Ты представляешь, у нее на могиле распускаются королевские нарциссы!

– Не может быть! В декабре?!

– А по-моему, ничего удивительного. Мама столько отдала нам тепла при жизни, что оно согрело даже землю.

– Мудришь ты что-то. Скажи еще – соблюдается закон сохранения энергии.

– Называй как хочешь. А по мне – просто круговая порука добра. Иначе и быть не могло. Мама знала об этом.

## **Мама, Чехов, и четыре достопримечательности**

*Я вижу все. Я все запоминаю,  
Любовно-кротко в сердце берегу.  
Лишь одного я никогда не знаю  
И даже вспомнить больше не могу.*

*Я не прошу ни мудрости, ни силы.  
О, только дайте греться у огня!*

**А.Ахматова**

Нашу улицу нельзя было назвать большой. Но нельзя было назвать и маленькой. Она не была особо выдающейся, и знаменитости на ней не жили. Но она не была и незаметной. Одним словом – среднестатистическая улица южного города, обсаженная тополями и вязами, пыльная, асфальтированная, поросшая бурьяном и репейником, и с домами в два ряда.

Примечательна улица была следующим: ржавой трубой, пересекавшей ее около магазина «Тысяча мелочей», рыжим котом Жоржем, с видом городского обходившего свои владения, бельевой веревкой, натянутой от окна третьего этажа дома № 55 к тополию напротив и самим магазином «Тысяча мелочей». Но о каждой примечательности по порядку.

Ржавая труба была на нашей улице с незапамятных времен. Вполне вероятно, что вначале притащили трубу, а потом вокруг нее проложили улицу и построили магазин. Тот, кто приволок этот уродливый обломок металла, был в своем роде творец. Железная Квазимода, украшенная по всему периметру и диаметру ржавыми бородавками, была очень живописна. А пыльные островки осота, вросшие в нее, придавали ей изысканно древний вид.

Изначальные функции трубы оставались загадкой. Некоторые старожилы говорили, что когда-то это была водопроводная конструкция, другие – что канализационная. Третьи, почему-то понизив голос, вообще утверждали, что этот уродец ничто иное, как обломок немецкого самолета, сбитого хромым Гасаном. И что хромой Гасан, вернувшись с фронта, захватил и его с собой в качестве трофея. При этом никто не сообщал, зачем это Гасану понадобилось, и, самое главное, как он дотащил до дома ржавый символ поверженного фашизма? А спросить было не у кого, ибо Гасан вот уже лет сорок, как отошел в мир иной. Как бы то ни было, с трубой наша улица дышала очарованием старины. Это наполняло нас гордостью. Не у каждого была такая металло-архитектурная достопримечательность.

Рыжий кот Жорж родился во вполне интеллигентной семье бывшей балерины Майи Кудриной от домашней кошки Саломеи и домашнего кота Варлаама. Помимо родителей, Жорж с младенчества обладал добрым десятком братьев, сестер, тетей, дядей и племянников. Родоначальником пушистого клана были дедушка и бабушка Жоржа. В отличие от своих потомков, они именовались просто – Мурка и Васька. Майя взяла их с улицы и позволила основать колонию. Несмотря на суровое спартанское детство, Мурка и Васька быстро освоились в квартире бездетной балерины. Ко времени смерти старушки по ее дому бегало больше тридцати котов. Воздуха в округе это не озонировало. Новые жильцы быстро разогнали мохнатую братию: кого-то взяли сердобольные знакомые и друзья, кто-то просто сбежал. Но Жорж оставался верен своей улице, и жители привыкли к его массивной фигуре, степенно фланирующей вдоль тротуара. Жалкие остатки еды он не брал, а требовал полноценного обеда – супа, кусочков мяса или рыбы. При этом вид у него был явно разочарованный: «Что ж вы, люди, делаете, а? Я же мзду не беру, мне за державу обидно!» Надо сказать, что жильцы уважали хвостатого таможенника и поддерживали честь державы, то есть, улицы. Жорж никогда не голодал и лоснился год от году все больше.

Бельевая веревка, натянутая от окна третьего этажа дома № 55 к тополю напротив, сама по себе никакой ценности не представляла. Обыкновенная серая веревка с витой нитью для прочности. Но вот белье, вывешиваемое на ней... Тоже, в принципе, заурядное, кроме оранжевых панталон с черными кружевами.

О!!! Эти проклятые панталоны будили непристойные мысли и принадлежали Лизе Мельник – даме необъятных размеров и большой души. В отличие от трубы, происхождение панталон сомнений не вызывало – они были трофейными, немецкими, и их привез Лизе муж. К счастью, габариты Лизы за долгие годы не изменились – мощная и широкая в кости, она стойко оставалась в привычном весе. Панталоны были сделаны на совесть и явно не без участия дьявола – они не выцветали, не рвались и не усаживались от частой стирки. Вечная молодость панталон вкупе с неизменными габаритами Лизы могла бы навеять мысли о некоем портрете Дориана Грея, но на нашей улице тогда и слухом не слыхивали об Оскаре Уайльде. Зато когда оранжевый стяг с черными кокетливыми кружевами эротически-победно развеялся на уровне третьего этажа дома № 55, в соседних квартирах разом издавался завистливый женский вздох и начинался традиционный пилёж:

– У других мужья как мужья, своих жен как куколок одевают, а у меня чурбан чурбаном, пентюх пентюхом, нюня нюней (определений никчемности было много). Лучше бы мать моя вместо меня черный камень родила! Чем я провинилась перед тобой, Господи, что колода Лиза как королева одевается, а я как чернушка?

Мужья реагировали на это вяло:

– Извини, на войне не был, и миллионы не режу! А у спекулянтов покупать ничего не буду!

– Конечно, мы же бедные, но честные! Зато жена и дети пусть в отрепьях ходят!

– Хватит, женщина! Занимайся своими делами!

– Зачем я только замуж выходила, дурья моя башка?!

На это мужа синхронно разводили руками, мол, сама подтверждаешь, а я этого не говорил!

Ну и, наконец, магазин «Тысяча мелочей». Последняя и самая яркая достопримечательность нашей улицы.

В общем-то, в самом магазине ничего примечательного не было. Обыкновенный набор хозяйственных принадлежностей: гвозди, крючки, кастрюльки, стаканы, коврики для ванной и прихожей, кашпо для цветов, шланги, средства для чистки мебели, ведра, термосы, а в другой стороне – почему-то картошка, капуста и зелень. Жильцы вначале дивились странному набору товаров, но потом свыклись.

Заведовал всем этим богатством Лев Захарович. Большого оригинала трудно было найти. Он был продавцом и главным украшением магазина.

Забежишь к нему, бывало, утром:

– Лев Захарович, мне бы картошки килограмма два.

– Какой? – с деланным безразличием вопрошает Лев Захарович, но лысина предательски наливается кровью.

– Как какой? Картошки просто!!!

– Я не глухой! Тебя мама не учила не кричать, особенно на старших? Какой картошки, я спрашиваю? Для чего?

– ?!!

– Боже мой! – Лев Захарович всплескивал коротенькими ручками. – Боже мой! Что вырастет из этого ребенка, я тебя спрашиваю? Он даже не знает, какая картошка ему нужна! Как он будет помогать родителям, каким он будет хозяином? Ничему не учат детей, только собой занимаются. Беги, спроси у мамы, для чего ей нужна картошка?

Мама реагировала не менее бурно.

– Что он умничают? Тоже мне – старый болтун! Скажи, для супа!

Услышав ответ, Лев Захарович медленно остывал.

– Ну, хоть какая-то определенность! Запомни, деточка (в хорошем расположении духа он всех называл деточками), белая картошка для супа, она аккуратная и не разваливается. Если для пюре, нужны желтые сорта – они рассыпчатые и пюре будет красивым и воздушным. А вот если хочешь жареную, тогда непременно розовую. В ней много декстрина – картошечка будет с румяной корочкой, целенькая, да еще с луком и на сливочном масле – это еда богов!

Он складывал пальцы щепотью, подносил их ко рту и причмокивал. И по лицу его, словно лучи от солнца, во все стороны шли морщины.

Та же участь ждала и капусту. Не дай Бог было не определить, для чего она нужна – для борща или голубцов. Лев Захарович приходил в отчаяние!

– Запомни, пока я жив, потому как ваши родители жизни, я смотрю, вообще вас не учат: плотные, сочные кочаны на борщ, чтобы наваристее был, а вот легкую, пустую капусту на голубцы, чтобы «раздевать» было легко, и листья бы не поломались. Запомни, все в жизни пригодится!

Окончательно приходя в благодушное настроение, Лев Захарович усаживался на табурет с лоскутной подушкой и начинал разговоры «за жизнь».

Они были пестрые и так беспорядочно перескакивали с темы на тему, что казалось, будто кружишься на огромной карусели и на ходу пересаживаешься с оленя на лошадь, а потом снова на оленя. Познания у Льва Захаровича были огромные, но

совершенно бессистемные.

Разговор рождался со... вздохов. Вначале редких, потом, как капли дождя, учащавшихся. Повздыхав вволю, Лев Захарович останавливал свой взгляд на рисунке какой-нибудь чашки. Это, к примеру, мог быть греческий узор из ломаных линий. Глаза старика оживлялись.

– Древняя Греция, прекрасная Эллада, – произносил он единым духом. – Родина философов и поэтов. Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына. Ты мифы в школе изучаешь? И какой самый любимый? Боже, у этого ребенка нет даже любимого древнегреческого мифа! Эти дети неучи! Господи, куда ты смотришь?! А миф о Дедале и Икаре? Тоже не слышал? Боже, вложи в голову этим детям хоть каплю ума!

Продолжая ворчать и сокрушаться, Лев Захарович рассказывал нам миф за мифом. Герои и боги оживали в его пересказах. Эгейское море шумело и переливалось всеми красками, нимфы плясали на берегу, а скромный продавец «Тысячи мелочей» предстал новым Гомером. Рассказы Льва Захаровича были куда интереснее школьных уроков истории! Но волшебство разом прерывалось, если вдруг, к примеру, начинал накрапывать дождь. Прекрасная Эллада гасла в надвигающихся тучах, и Лев Захарович перескакивал на тему о круговороте воды в природе и свойствах дождевых осадков. А далее перечислялись виды дождя и примет, с ним связанных.

Если после дождя в воздухе пахло нагретой пылью от асфальта, то мгновенно заводился разговор о происхождении пыли как таковой. Если ветер доносил легкий запах прели и грибов, то на два часа был гарантирован феерический рассказ о грибах.

Лев Захарович мог говорить обо всем: музыке, вине, живописи, литературе, географии, физике, керамике, выделке кожи, звездах и лечебной физкультуре. От него мы узнали, что такое гляциология и глиптика. Все было изумительно интересно и беспорядочно. Одновременно с рассказами Лев Захарович умудрялся еще и отпускать товар и яростно просвещать необразованных покупателей. Его любили и не мыслили улицы без него.

В подсобной комнате у Льва Захаровича было множество неожиданных вещей. Помимо ведер с отбитой эмалью, рыболовных крючков, сеток для москитов, ящиков с гвоздями и разнокалиберных кранов, на стене красовалась «Лунная ночь на Днепре» Куинджи, а пыльный стол украшал портрет Чехова. Краны и трубы валялись на столе тоже, отчего казалось, что портрет окружают замороженные жестяные змеи.

Любой смертный, допущенный в эту пещеру Али-Бабы, застывал на пороге и, обретя наконец дар речи, спрашивал, к чему же портрет Чехова и «Лунная ночь»? Лев Захарович словно предвкушал этот вопрос! Ему было наслаждением отвечать на него! Он глубоко вздыхал, распускал морщинки-лучики на лице и начинал вещать!

– Вы спрашиваете, почему у меня среди этого бедлама Куинджи и Чехов? Я бы мог вам ответить стихами Вознесенского «Небом единым жив человек!» Но я не буду этого делать. А почему? Спросите меня – почему?!

– Почему?

– Потому что это и так ясно! Это как дважды два – четыре! Не хлебом единым человек, но и хлебом тоже. Не небом единым жив человек, но и небом тоже! Вся наша жизнь – канатная веревка, по которой мы балансируем между дольным и горним. И надо удержаться на этой веревке между физикой и метафизикой, тогда ты – гармоничный человек. Вы понимаете меня? Впрочем, это неважно, потом поймете.

Понять было нелегко, но мы согласны кивали, что, да, мол, потом уразумеем!

Такие речи продолжались минут двадцать. После чего Лев Захарович уставал и начинал говорить тише, будто вглядывался на дно души. И речь его менялась, становилась проще и душевнее, исчезало все выпященное.

– Моя мама была святая женщина. Берегите мам, дети, вторых мам не будет никогда. Только я не понимал, что она святая. А сейчас понимаю и мне стыдно. Она в

29 лет осталась с тремя маленькими детьми на руках. Отца не стало еще до войны. А нас у мамы пятеро было, но двое умерли в младенчестве. И вот остались мы у нее – я, брат младший и сестра. Я у нее был любимчиком, она всегда меня больше жалела, Львеночком рыжим и солнышком называла. Это я сейчас лысый, а раньше был рыжим, волосы густые, кудрявые! Эх...

А сколько ее сватали после отца, мамочку мою. А что не сватать: и красавица, коса в руку толщиной, глаза как огонь, а талия тоненькая, и это после пяти детей! И работница – золотые руки. Все в доме делала сама, любое дело спорилось. А я в штыки встречал, когда кто-то к нам свататься приходил. Мама из-за меня всем отказывала. Так замуж и не вышла. А сейчас я жалею, Бог мой, как жалею! Она ведь молодая была, жить бы да радоваться! А всю себя в нас вбила, так и состарилась. А что мы? Разлетелись каждый в свою жизнь, меня вот вообще в другой город, сюда занесло. А мамочка в семье сестры доживала. А при зяте какое житье? Да еще если и его мама с ними вместе живет? Вот и получается, что мамочка моя ни одного дня не пожила как душе хочется.

Лев Захарович замолчал и теребил уголок грязного платка.

– А когда отдыхала, любила смотреть на эту картину, – продолжал он и взмахивал рукой на стену. – Нашла в каком-то журнале, поставила за стеклом и все наглядеться не могла. Бумага журнальная совсем истрепалась, выцвела, а она не разрешала никому дотрагиваться. Это я уже потом купил хорошую репродукцию и вставил в рамку.

А Чехов? Это, считайте, ему я обязан всем, что знаю. Только Антон Павлович здесь как бы ни при чем. Все мама. Она хоть и грамотная была, но просила, чтобы ей читали вслух. Да и то сказать, когда ей было читать: все время в работе, дома дела не кончаются.

И очень любила рассказ Чехова «Скрипка Ротшильда». Уже наизусть его знала, а все равно, затаив дыхание, слушала. И всякий раз нам повторяла: «Вот, смотрите, как человек только под старость понял, что всю жизнь прожил в убытках. Никому доброго слова не сказал, жену истязал, попрекал куском хлеба, даже чай пить запретил, потому что считал – чай дорогой, и пила жена только горячую воду. А сам пил горькую, скандалил, кидался на всех с кулаками, а жизнь так и прошла, и ничего уже не поправишь, и так много потеряно. А все потому, что человек делает не то, что нужно. Вместо того, чтобы сказать другому доброе слово, норовит обидеть, обмануть. Вместо того, чтобы учиться и приносить пользу, мусолит злые сплетни, ненавидит и злится. Кому нужна такая жизнь? Одни сплошные убытки. Вот живите так, чтобы у вас их не было».

И так часто она нам это повторяла, что я понял: «А ведь правда, есть потери, которые ничем не поправишь».

Мы – народ практичный, добро на ветер швырять не привыкли. Так зачем я буду трепать свое сердце на злобу и ненависть, если можно его с пользой употребить? Зачем мне пустота и темнота, если я могу зажечь свет в храме своей души? – снова съезжал на выспренный тон Лев Захарович. – Зачем мне глупые разговоры, если всякий раз можно узнать что-то новое? Я вас спрашиваю – зачем? Есть в этом какой-то смысл? Нет?! А зачем же тратить свое время на бессмыслицу?! Никакой экономики в этом я не вижу! Нет, вы мне возразите, если имеете что возразить! Я рад вас выслушать. Но если не имеете, так сидите и слушайте старого человека, который все ж таки что-то понял в этой жизни!

Лев Захарович расходился не на шутку, и здесь надо было поймать тот нужный момент, когда он еще не дошел до стадии кипения. Именно в этот момент надо было вставить робкое «Простите, Лев Захарович, мама ждет» и ретироваться. Слово «мама» было для него священным, он сразу же обмякал и торопливо говорил: «Да, беги, беги, что же ты раньше не сказал? Мама же волнуется! Вот я старый осел!».

Но если точка кипения была пройдена, то никакая мама не помогала. Лев Захарович произносил свои филиппики о том, что ученье – свет, а неученье – тьма с таким пылом и жаром, что сам Цицерон ему в подметки не годился! Тут уже не то, что фразу вставить, пискнуть бы не получилось! Старик блистал красноречием и пауз в речи не допускал.

– Память человеческая как затонувшая Атлантида, – гремел он и был похож в эти минуты на библейского Саваофа, – все глубоко, под толщей лет, и все живо, стоит только взглянуть получше...

...Мы вспомнили эти слова, когда наша улица с ее четырьмя достопримечательностями тоже стала затонувшей Атлантидой. Глубоко-глубоко на дне нашей памяти или любви колыхалась она. Робко всплывала в наших снах в предрассветные часы так ясно, так живо. Наша родная улица с ржавой трубой, пересекавшей ее около магазина «Тысяча мелочей», рыжим котом Жоржем, бельевой веревкой с пикантным трофеем и самим магазином «Тысяча мелочей».

И бессменным его продавцом Львом Захаровичем, влюбленным в Чехова и Куинджи и научившего нас не размениваться на убытки в этой жизни.

«Потому как убытки – зряшное дело, никакой экономии в этом нет и быть не может...»

## **Руфа**

(Цикл «Встречи»)

*Деревянный перрон нас угрюмо встречает,  
Почернели дома от прошедших времен;  
Мое сердце о прошлом, увы, не скучает,  
Мне о нем лишь напомнит этот старый перрон.*

**Елена Маркштедтер**

В больших и красивых городах есть, как правило, большие и красивые железнодорожные вокзалы. Большим городам как-то зазорно их не иметь.

Может быть, в далеком прошлом они были маленькими и неказистыми, с деревянными перронами, с обшарпанными скамейками в зале ожидания, с чахлыми геранями в ржавых ведрах, с угрюмыми и неразговорчивыми кассиршами. Ну так прошлое тем и хорошо, что оно уже прошлое, и по мере того, как расцветает город, хорошеет и железнодорожный вокзал. Вокзал – это вроде бы лицо города, а за лицом надо ухаживать!

И вот уже деревянные настилы сменились гладким асфальтом, а кое-где и мраморными плитами. Засияли огни маленьких магазинов – все к твоим услугам, пассажир, все, что душе угодно, покупай у нас! И быстро, и удобно! Ну, немножко переплатишь, так ведь за комфорт всегда платить надо!

Повсюду на вокзале бронзовые статуи, олицетворяющие железнодорожника. Проводница с флажком, проводник с фонарем, носильщик с тележкой. Бронзовые лица их суровы, губы сжаты, и взгляды у всех поголовно устремлены вдаль, в светлое железнодорожное будущее.

Обшарпанные скамейки сменились новыми, коваными. На них даже присесть опасаться – такой респектабельный у них вид! Чахлые герани исчезли, и на их месте появилась дорогущая заморская флора – диффенбахия, драцена, монстера. От одних названий бросает в дрожь!



Угрюмых усталых кассирш сменили тоненькие девушки. Боже – мечта, а не девушки! Стройные, ладные, форма на них сидит идеально, прическа – волосок к волоску, ресницы хлоп-хлоп! – и на губах всегда дежурная улыбка! И сами поезда изменились! Вместо однотипных голубых и зеленых появились нарядные светло-серые, оранжевые, красные и даже фиолетовые.

И только одно не изменилось. Только одно роднит прошлое и настоящее вокзала! Запах! Неистребимый и вечный запах железнодорожного полотна, он пропитывает все вокруг, им пахнут кассы и сами кассирши, скамейки, носильщики, бронзовые памятники и цветочные горшки. Что там горшки! Сами цветы, и даже пирожки и кофе в буфете тоже пахнут поездом. И представьте – есть граждане, кому это очень нравится! Да-да! Они с наслаждением вдыхают этот воздух, они смакуют его как дорогое вино. Для них это не запах нагретого железа и машинного масла, это запах Дороги, а может, и самой жизни. Так ведь наша жизнь и есть дорога.

Если прийти на наш вокзал примерно к семи утра, то можно застать прелюбопытнейшую картину. С северо-восточной стороны, от угла магазина «В добрый путь» появляется грузная женская фигура. Солнце светит ей в спину, солнце будто играет с ней в мячик, но, похоже, женщине это нравится. Она неспеша пересекает привокзальную площадь, переваливаясь, подходит ко второй скамейке у первой платформы и, шумно вздыхая, опускается на сиденье. Каждый божий день с конца апреля и по середину октября, с утра и до темноты она восседает на второй скамейке, встречая и провожая поезда. Лицо ее задубело от солнца и ветра, и она похожа на бронзовые вокзальные статуи.

Все работники вокзала давно к ней привыкли и не обращают на нее внимания. Наоборот, если вдруг она запаздывает, то встревоженно спрашивают друг у друга: «Интересно, где Руфа?» и успокаиваются, услышав шаркающие шаги. Для железнодорожников Руфа – своего рода талисман. И только уборщицы радуются, не застав Руфы на месте. Они жалуются, что мимо нее пройти невозможно, а после нее долго и брезгливо оттирают скамейку хлором. Уборщицкая гвардия, пожалуй, единственная, кто принципиально не здоровается с Руфой, и она платит им тем же, в упор не замечая их тряпок, швабр и прочей клининг-амуницию.

Если не боитесь тяжелого запаха, действительно исходящего от Руфы, то познакомимся с ней поближе. Порой и в грязи можно отыскать что-то ценное. Если, конечно, набраться терпения и всмотреться пристальнее.

Вначале как бы невзначай присядем на скамейку неподалеку от нее. Не рядом (это трудно выдержать), но и не в отдалении. Руфа очень чутка на проявление деликатности. Если присесть на другом конце скамейки, Руфа смерит вас презрительным взглядом и на все ваши вопросы будет отвечать кивками или мотанием головы. Сесть надо на безопасном расстоянии, примерно в 30 сантиметров и незаметно окинуть ее взглядом.

Она толста и безобразна до обаяния. На темном лице ее безмятежность. Так, наверно, выглядел бы среднеупитанный бегемот, только что вылезший из илистой лужи. Руфа из лужи не вылезает, но ее одежда лоснится от жира и грязи. Впрочем, и одеждой это назвать трудно. Нечто, вроде живописных лохмотьев. Растянутая шерстяная кофта, халат, когда-то бывший синим, но сейчас потерявший всякий цвет, под ним почему-то тельняшка. На ногах спортивные брюки, обрезанные ниже колен. Кромка их махрится и кажется, что Руфа щеголяет оригинальными панталонами. Распухшие фиолетовые ноги в разрезанных по бокам туфлях. Руки изуродованы артритом. Запах от нее сложный – нефти, прогорклого сала, немывтого тела, мочи и старости. Бронзовое лицо неподвижно и напоминает чеканку. На нем живут только глаза – выцветшие, бирюзовые. Но взгляд их цепок и прожигает собеседника насквозь.

Первая проверка: Руфа слушает, как с ней здороваются. Поздороваться надо вежливо и доброжелательно. Вы очень рады ее видеть, так покажите ей это! Руфа

оценит вашу деликатность и благородство! Наградой будет усмешка в углах запекшихся губ, заинтересованность во взгляде и плохо различимый сип: «Здравствуйте. Пришли познакомиться с местной достопримечательностью?!» Руфа знает себе цену!

– Оф-ф-ф! – звучит прелюдия к монологу. – У-ф-ф! Жарко! (*независимо от времени года.*) Меня тут все знают. Вокзал – мой дом, но живу я тут поблизости, во-он там. – Она делает широкий взмах рукой куда-то назад. Там еще теснятся старые постройки с винтовой системой лестниц – итальянские дворы. – Как-нибудь приглашу вас (*не смейте отнекиваться – смертельная обида!*), увидите, как живет старый человек. У меня все есть. Софа, стол, холодильник, даже ковер есть – что мне еще нужно? Дай Бог всякому! (*сохраняйте серьезное выражение лица – за вами пристально следят!*) Я и родилась тут и меня в честь артистки какой-то назвали Руфиной<sup>1</sup>, но все с детства Руфой звали. Родители мои на железной дороге служили, папа машинистом, а мама проводницей, и всю жизнь помню только ту-тук, ту-тук, ту-тук, ту-у-у! Поезда идут туда-сюда. Хорошо!

Из горла ее вырывается что-то, похожее на карканье, и во рту желтеют пеньки зубов. Она смеется. В глазах бирюзовых глаз появляются слезы и исчезают в складках лица.

– Я в детстве была чудесным ребенком, – продолжает она, отдышавшись. – Меня украли воры, подменили, вот я и стала такой безобразной. А на самом деле я красивая, очень красивая. У меня волосы были как светлый шелк, кожа – как бархат, глаза – как небо.

Это очень опасный момент! Не вздумайте улыбаться, недоумевать, и храни вас Бог отсесть или отодвинуться! Лучше посокрушайтесь о злодейке-судьбе, превратившей ангелоподобного ребенка в Руфу. А еще лучше начните убеждать Руфу, что она вовсе не безобразна. Она оценит это!

– Не могу дома. Там все давит! Папин портрет, мамин портрет. В альбом смотрю – все покойники. Никого в живых нет. Только я осталась. А уехать тоже не могу. Это дом мой, я к нему привыкла. Садик весь малиной зарос, она сухая, корявая, ягод не дает, а вырубить ее не могу. Она как я – тоже старая и скрипит, будто плачет, чтобы ее не трогали. У меня кости болят, и у нее ветки тоже болят. Малина – как человек, жалуется, скрипит, а старых и больных никто не любит, надоедают.

Руфа делает глубокий вздох. Мимо снуют отъезжающие, провожающие, приехавшие, перекрикиваются носильщики, смеются проводницы. Солнце разгорается ярче, и Руфа вытягивает больные ноги. Зрелище неэстетичное; фиолетовая кожа с набухшими венами того и гляди лопнет, но женщина сладко морщится. Видно, что тепло и свет приносят ей облегчение.

– Вам к врачу надо, – осторожно киваете вы на ее ноги. – Это ведь нехорошо.

– Я сюда прихожу поезда слушать. – продолжает она, словно очнувшись от оцепенения и не обращая внимания на ваши слова. – Все одинаково, а мне не надоедает. Я люблю наблюдать за людьми... Провожающие что-то кричат тем, кто уезжает, напоминают, не забыл ли что. А тот, кто уезжает, проходит по коридору и – быстро к окну, чтобы помахать рукой тем, кто стоит на перроне. Это уже обычай. Сначала просто машут рукой и улыбаются. Потом уже тот, кто уезжает, машет рукой и просит провожающих уйти. А они не уходят, стоят, пока поезд не двинется. И уже когда двинется, они еще быстро идут за поездом и машут тому, кто в нем. А потом поезд набирает ход, они отстают и медленно уходят. И если смотреть за этим со стороны, то кажется, будто все эти люди танцуют. Вот так, каждый день один и тот же танец, только поезда и люди разные, а танец одинаковый.

А тот, кто едет в поезде, у него уже начинается другая жизнь. Он знакомится с попутчиками, предлагает им свою еду, и они тоже разложат свои припасы. Они выпьют, закусят, будут рассказывать друг другу разные истории из жизни. И очень до-

<sup>1</sup> Очевидно, имеется в виду актриса театра и кино Руфина Нифонтова.

вольные новым знакомством, лягут спать, чтобы проснуться и выйти на своей остановке или ехать дальше.

Вы слушаете, пытаетесь понять, к чему она клонит. К чему этот монолог неопрятной полубезумной женщины? Вы уже жалеете, что подсели к ней на скамейку. Но она продолжает, и глаза ее становятся тусклыми, как у сивиллы.

– И человек едет и едет. Почти все попутчики, с которыми ему было хорошо и весело, сошли на своих станциях, а он едет. И новые люди заходят в вагон, но с ними он никак не может подружиться. Он смотрит в окно и думает: «Вот поезд несется, станции мелькают, везде яркие огни, жизнь бурлит, а я все никак не приеду. Какая длинная дорога!» И ему очень хочется выйти, он устал, ему надоело трястись в вагоне. Но уже скоро его станция и он продолжает ехать.

И вот, наконец, поезд сбавляет ход, мигают огни станции, и человек понимает, что ему выходить. Он радуется: слава Богу, что трудное путешествие позади, он берет свой багаж, выходит на перрон и вдруг понимает, что ему жалко расставаться с вагоном. Как-никак, он так долго в нем ехал и успел привыкнуть к нему. И теперь он даже думает: а может, поехать дальше? Но кто ему разрешит? У него ведь билет до этой станции. Никому нельзя ехать дальше своей станции. И на него уже кричит проводник, чтобы не задерживал состав. А потом он видит, что пришли его встречать, и окончательно покидает поезд. Кар-р-р!

И Руфа, каркая, смеется, откидывается на спинку скамейки и замолкает.

Глаза ее закрыты, и теперь она действительно напоминает мифическое существо: лицом – птицу, телом – зверя. Вам не по себе. Вы осторожно встаете и тихо уходите.

На душе у вас скверно, но вы во власти ее непонятого обаяния. Вам кажется, что Руфа знает больше и видит дальше, чем обыкновенные люди, но странен и темен ее язык. Вы клянете себя за то, что завели с ней разговор, но в мыслях все время возвращаетесь к нему.

– А, поговорили с нашей Руфой? – спрашивает вас добродушный носильщик. На его тележке размашисто намалевана цифра 1, и, судя по всему, он гордится своим первым номером! Пока поездов нет, он отдыхает и не прочь поболтать. – Не обращайтесь на нее внимания. Это наша вокзальная блаженная. Грязная, это правда. Но зла от нее никто никогда не видел. Ее родители тоже железнодорожниками были. Хорошие люди, только детей долго не было, потом дочка родилась, но очень тяжело. Что-то повредили ей, и вот она такой и осталась. Но ее никто не трогает, помогают, кормят. Только заставить не можем переодеться и искупаться. Новые вещи даем, они через неделю у нее как тряпки становятся. И лечиться не хочет. Наши уборщицы ворчат, но Руфу не тронут. Вся жизнь ее здесь прошла. А когда придет время – всем вокзалом проводим в последний путь, как полагается.

И я вам скажу, пока она здесь, ни разу не было, чтобы поезд опоздал или пришел не вовремя, или бы рейс отменили. Все поезда – ночные, дневные – все четко приходят, по часам. А когда ее нет, то что-то все равно случается. Все на нервах. Поэтому, как в апреле она появляется, все радуются. Кроме уборщиц, конечно. Но что уж поделаешь...

*Какие-либо совпадения с героями или местностью являются случайными.*